

**Военные
Приключения**

ДОБРОВОЛЬЦЕМ В ШТРАФБАТ



ЕВГЕНИЙ ШИШКИН

Военные приключения

Евгений Шишкин

Добровольцем в штрафбат

«ВЕЧЕ»

2016

Шишкин Е. В.

Добровольцем в штрафбат / Е. В. Шишкин — «ВЕЧЕ»,
2016 — (Военные приключения)

ISBN 978-5-4444-8705-1

За крутой нрав Фёдора Завьялова прозвали «бесова душа». Он получил срок за бытовую поножовщину и должен искупить свою вину. В лагере Фёдор подаёт рапорт: просится на фронт. Его ждут штрафбат и боевое крещение на Курской дуге, он проходит долгой фронтовой дорогой, которая никогда не бывает гладкой. Казалось бы, Победа совсем близко, но судьба опять испытывает Завьялова на прочность.

ISBN 978-5-4444-8705-1

© Шишкин Е. В., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	9
III	13
IV	18
V	21
VI	25
VII	28
VIII	30
IX	34
X	36
XI	38
XII	41
XIII	44
XIV	47
XV	50
XVI	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Евгений Шишкин

Добровольцем в штрафбат

Памяти деда – Егора Васильевича

© Шишкин Е.В., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая

I

В избе влажно блестит выскобленный, вымытый пол. Танька у порога отжимает над ведром тряпку.

– Не топчи тут мне! – покрикивает она на старшего брата Фёдора и щурится на редкие золотые пылинки в столпе солнечного света.

Солнце уже сползло на западный небосклон, но ещё ослепительно-живо, оранжевым светом ломится в распахнутые окна. Лучи сквозят между алых шапок распустившейся герани, ударяются в большой никелированный самовар, который стоит у подтопка возле белёного бока русской печи. Осколки разбитого о самовар солнца зыбкими зайчиками лежат на створках громоздкого буфета, на строчёном подзоре высокой кровати, на толстой матице, где на гвозде висит керосиновая лампа, и наконец – на тёмном резном окладе зеркала, в серебряное озерцо которого глядится Фёдор.

Он зачёсывает русый волнистый чуб набок. Гребень у него, однако, плох, щербат. Вот и опять один зуб погнулся и слегка царапнул висок.

– Тьфу ты! – злится Фёдор, берёт с подоконника нож с деревянной ручкой, и непутёвый зуб гребня с легким щелчком отскакивает от лезвия.

Фёдор ни сном ни духом не ведает, что этим ножом он сегодня убьёт человека. Вернее, по всему селу Раменскому в этот тёплый майский вечер сорок первого года разнесётся ледяная вопиющая весть: Федька Завьялов человека зарезал!

Однако весть будет не совсем точна: тот человек выживет. За волосок прицепясь к жизни, выкарабкается из бездонного смертного запределья. Выкарабкается, быть может, благодаря тому, что мать Фёдора, Елизавета Андреевна, поплатится своим будущим ребёнком (она ходила на сносях и от нахлынувшей беды преждевременно родит бездыханного мальчика); а быть может, благодаря Таньке, которая с неунимающей дрожью будет истово креститься и нащёптывать бескровными губами самосочинённые молитвы перед ликом Николая Угодника в киоте над янтарной слезой лампадки, о которую незадачливая ночная бабочка опалит крылья.

...Погремев рукомойником, Танька обтёрла о фартук руки, притулилась на лавке в углу.

– Тятя наказывал в курятнике насест заменить. Забыл? Я скотину обиходила, в сенках прибралась, полы вымыла. А ты перед зеркалом будто девка. – Она хочет подсунуть брату, вместо вечёрки, грязную работёнку.

– Сама иди меняй! – огрызается Фёдор, подтягивая набархоченные до глянца хромовые голенища сапог.

Танька обиженно дуется и зорко наблюдает, как охорашивается брат: оправляет на голубой рубахе с вышитым косым воротом шелковую верёвочную подпояску с кистями, одёргивает полы пиджака, чтоб ровнее сидел, одеколонится.

– Наряжаешься, душишься, а Ольга с другим завлекается. Ты для неё в ухажёры не гожий. К ней опять тот, с городу, приехал. Сама видела! – не сдержалась Танька, щипанула брата за самое больное.

– Ты, сопля, куда не надо не суйся! А то я тебе ноги повырываю!

Ноги у Таньки резвые, она уже и не на лавке, а у двери, знает, что брат огнист и схлопотать за такие оскорбительные речи можно нешуточно.

– Ты верно его видела? Не ошиблась? – не оборотясь к сестре, спросил Фёдор.

– Не слепая пока! Его здесь враз отличишь. Хоть и тепло, а он в длинном пальте форсит. И галстух на нём. Наши этакое не носят. В сторону Ольгиного дома вышагивал. Гордый такой – петухом глядит... Да наплевать мне на вас! Тятя вон едет!

Танька выскочила из горницы, по сеням – проворные шумные шаги, и уже с улицы, в окошко, слышать её звонкий голос. Доносится и топот лошадиных копыт, сухие, скриповатые звуки тележного хода.

Егор Николаевич натянул вожжи, слез с подводы, приобнял подбежавшую дочь. Снял с тележной грядки деревянный короб с плотничьим инструментом; распрягает коня Рыжку. Потряхивая сивой спутанной гривой, конь фыркает толстыми губами, шерит крупные жёлтые зубы, косится на возницу агатовым глазом, требуя поощрения за тягловую службу.

– Смирно стой! – прикрикнул Егор Николаевич, роняя отвязанную оглоблю. Похлопывает коня по огненно-рыжему вспревшему крупу.

Несколько лет назад, в пору повальной коллективизации, сжав в кулак свое сердце и сглаживая горький ком в горле, вёл Егор Николаевич ещё тонконогим, брыкающимся жеребчиком Рыжку на общий конный двор – сдавать в «ничейные» руки; да благо остался Рыжка негласно закреплён за семьёй Завьяловых, под их особенным присмотром и уходом, избранно обласканными в колхозном табуне.

Танька подсобляет снять хомут, вертится возле отца юлой – ждёт гостинца. Пусть тятя и по рабочей надобности в соседнюю деревню ездил, но быть такого не может, чтоб про гостинец забыл. И верно – не забыл, привёз! Печатный пряник с белой сахарной обливкой.

– Ну, шевели копытами! Но, родимый! – Танька берёт Рыжку под уздцы. – Отведу, тятя. И напою, и вычищу. Не беспокойсь!

Она в лепёшку разобьётся ради отца, и он – её ради. Вот с сыном у Егора Николаевича глубокого сладу не выходит: живут они, словно бы отчим с пасынком.

В своём роду по мужиковской ветви Егор Николаевич продолжал завьяловских умельцев, отличаясь в любом начинании трудоусердием, тщанием и сметливым глазом. Он не только сноровисто владел топором, долотом и рубанком, но и выделявал кожи: солил, промачивал, красил, доводил до благородства, – а из кожи тачал сапоги, шил сандалии, горазд был изготовить фасонистую бабью обувь. Он и сына хотел прирастить к ремеслу, воспитать себе помощника да преемника. Но Фёдор угодил не в него, обломал родословную мастеровую ветвь: ни обстоятельности в нём, ни усидчивости настоящего ремесленника. Правда, Егор Николаевич с этим свыкнуться не хотел, преподносил сыну уроки, силком передавал искусный навык. В один-то из таких уроков и нашла острая коса на твёрдый камушек; Фёдор тогда ещё парнишкой был, отроком.

– Што же ты кожу-то изводишь, голова худая! Разве я так показывал обрезать? А загибаешь куды?

– На вот, сам и загибай! – взбеленился Федька. У него и так-то не получалось, а тут ругань под руку; вгорячах бросил и кожаный кус, и деревянную сапожную колодку.

– А ну подыми, сволоченок! Подыми, я сказал!

– Не подыму.

– Ну тогда я подыму...

Потом Егор Николаевич не раз в душе покается, что поднял на сына сапожную колодку. Он мог зашибить его насмерть третьим ударом или изувечить, если бы не повисла у него на руках жена.

Мыкалось сердце Елизаветы Андреевны между мужем и сыном, горькие слёзы застили взгляд и блестели в ранних морщинках подглазий; тихо, умолительно звучал её голос:

– Чего же ты, Егор, делаешь-то? Сын ведь он нам. Единственный. Не хочет он твоей науки. Не мучь. Не всем такими мастерами быть, какой ты... Где его теперь искать? Двое суток

как из дому сбежал. А ведь ноябрь. Застыл, поди, где-то в лесу. Или волки... Пошто же ты так-то, Егор?

На четвёртые сутки Федьку привел домой дед, хромой старик Андрей. Сперва беглый Федька дневал в лесу, а ночевал в поле, в стогу, – околевал, голодал, но сам себе клялся, что домой более не воротится, и гладил ладошками побитый отцом бок; а спустя пару дней, когда коченеть и щёлкать зубами стало неважноту, пришёл к деду, который жил отшельником в лесной сторожке. Сторожка на нелизкой от Раменского заимке досталась деду Андрею в невесёлое наследство от приятеля-лесничего, расстрелянного ещё в двадцатые годы малоразборчивым большевистским наганом, якобы за укравательство колчаковского офицера.

Федька просился к деду навсегда, заверял в своём послушании и всяческой подмоге по хозяйству, но дед Андрей авторитетно переломил его:

– У всякой обиды, как у всякого чуйства, свой срок. Перемелется. Молодая-то кровь накий очищает скоро. Да ещё, знать, поделом отцово-то наказание. С возрастом и прок в том усвоишь. Вертайся-ка, Федька, к родителю, бесова душа...

С дедом Федька супротивничал недолго, против его наставлений не бунтился, но что-то, в камень очерствелое по отношению к отцу, в себя положил. После этого уже не клеилось меж ними, хотя не бывало и стычек с отцовским рукоприкладством. Ежели не сойдутся в чём-то, – только занозисто, исподлобья поглядят друг на дружку и, промолчав, разойдутся с невыразимой досадой.

Елизавета Андреевна год от году утрачивала надежду, что возобладает в них разумная единокровная тяга к сближению, что поладят они бесповоротно, и надумала родить ещё одного ребёнка, «поскрёбыша», будучи по-женски не вполне здоровой и в годах для того несколько запоздалых.

Отец и сын и теперь поглядывали друг на друга коротко и чаще всего утайкой. Они и в эти минуты, встретившись в сенях, избегали прямого взгляда и полновесного разговора.

– Я к товарищу пойду, к Максиму, – неловко сказал Фёдор, чтобы хоть что-то сказать, не в молчании разминуться с отцом. – Там, в курятнике... Танька сказывала. Так я потом, завтра.

– Не горит, – согласился отец.

Свету в сенях скудно: из оконца над выходной дверью, но Фёдор обострённо различал отца. Худое, с узкими скулами лицо, подпалённое новым загаром, обвислые серые усы и щетина на щеках; на лбу вдоль морщин заметен кольцевой намятый след от фуражки. Светлая рубаха на груди отемнело-сырая: видать, отец пил из ведра у колодца и облился невзначай. Сапоги с прилипшими опилками и стружечной трухой в дорожной пыли. Движения у отца замедленные, сугорбленная усталость в походке, изнурённый наклон головы. «Намудохался батя», – подумал Фёдор и застыдился своей гуляночной начищенности и духа одеколона. Пospешил уйти из сеней, кончить встречу.

Но всё же, прежде чем выйти на крыльцо, обернулся, – ещё раз взглянул на отца: что-то изнутри колыхнуло Фёдора, какой-то таинственный скорбный позыв задержал. В тот самый момент и Егор Николаевич оборотился к сыну и, казалось, хотел что-то сказать, в чём-то предупредить или что-то от него услышать. Этот выжидательный, немного растерянный и податливый взгляд отца, его мокрую на переду рубаху, сапоги в пыли и опилках и руку, нащупывающую на двери скобку, Фёдор втиснет в память навсегда.

II

Выйдя за калитку, Фёдор остановился посреди улицы. Поверх крыш домов посмотрел на синюю луковку церковного купола, на крест, сияющий в закатном огне солнца.

«С другим завлекается... – ядовитое сообщение Таньки засело в мозгу, точно пчелиное жало. – Опять, значит, приехал. Видать, соскучился... В пальте, в галстук форсит...»

Церковная колокольня зияла пустым поруганным оком. Несколько лет назад колокол сволокли на толстых канатах с законного места, увезли на переплавку для пользы новой обезбоженной власти; покушались и на весь храм Господень, даже рассчитали, сколько уйдет взрывчатки, чтоб обратить его в руины, но отступились – оставив единственный приход на большую округу. Без долгой ремонтной подправки худилась, темнела ржавыми плесинами церковная крыша; облезла местами синяя обшивка купола; кое-где пообсыпалась белая, некогда нарядная штукатурка; откололись лепные столбики оконных наличников, обнажив бурую кирпичную кладку. Но всё же храм, капитально поставленный богомольными предками, ещё знатно стоял посреди села, как древний бастион неискоренимого Православия, возвышая над купольной сферой свое знамение – крест с ажурными завитками.

В центре же села, фасадом к церковным воротам, через небольшую площадь, утвердился свежерубленный двухэтажный домина под железной, суриком окрашенной кровлей – сельсовет и правление колхоза, – местная полномочная цитадель. На коньке, на долгом толстом шесте закреплено большое кумачовое полотнище. Сейчас, в безветрии, флаг смотрелся вытянутым красным чулком, и казалось, величавый златозарный крест слегка насмехается над его тряпочной фактурой, хотя тот и олицетворяет немилосердную власть. Но когда поднимался ветер, особенно пред грозой, когда трепетало поле и пошатывался лес, когда оперенье деревьев шумело и задиралось матовой изнаночной стороной, словно на бабе платье, тогда полотно на длинном флагштоке привольно расправляло кумачовое пролетарское тело, хлестало направо-налево воздух, рвалось вперёд, распарывало собой встречу летящее небо и будто бы затмевало пасмурный допотопный крест...

По дороге, между церковью и сельсоветом, идти бы сейчас Фёдору на вечерку, но он постоял в раздумье и отвернулся и от флага, и от креста. «Городской-то гость зачастил. Ох, зачастил!» – мстительно подумал Фёдор, обжигаясь внутри себя обо что-то калёное, горячее огня. И быстро зашагал по улице на сельскую окраину.

Нынешний май уже разукрасила сирень. Наравне с плодоносящими сёстрами – рябиной да черёмухой, сирень в Раменском в необходимом почётном присутствии. Почти у каждого дома – тонкостволое невысокое деревце, на котором закудрявились, распушились среди ярко-зеленой листвы молочно-фиолетовые гроздья. Изобилие сирени в Раменском! Но только в одном палисаднике росла сирень белая, – редкая для здешних мест. Словно кипень, вздулась она искристой белизной, по зелёному тону ветвей пустила кудри из бесчисленных благоуханных соцветий. Эта сирень росла у дома Ольги.

«А я, стало быть, для неё неподходящий? Ухажёр не гожий!» – словами Таньки распалял себя Фёдор. Но на сестру за её необдуманное злоязычие обиды нету. Да и при чем тут она? Обидой пригласила другая; и лилейный цвет сирени на улице бросался в глаза своей манливой, беспокойной красой.

Резко – будто за рукав сбоку потащили – Фёдор свернул на тропку, утекающую в овраг. По оврагу он скрытно пересёк часть села и выбрался на околицу, на комковатую дорогу вблизи поля с поднявшейся озимой рожью. Хоронясь за придорожными кустами, стал возвращаться в сторону своей же улицы. Этот крюк он совершил, чтобы обогнуть дом с белой сиренью и не повстречать случаев мать, которая ушла к знахарке, бабке Авдотье, в этот же конец села.

Фёдор перемахнул через жерди невысокого тына и по малиннику, пригибая голову, пошёл на задворок Дарьиного дома. Озирался. Никто вроде бы его маневр не заметил. Ну и хорошо – лишний раз языками не почешут. Покосившись на топор, бесхозно брошенный в траву, возле расщепленной, но так и не расколотой березовой чурки, Фёдор осторожно, через неуклюжие разошедшиеся двери, пробрался в хлев. «Тихо ты!» – шугнул он козлуху, которая заблеяла, почуяв человека, и прошёл дальше – в захламлённые, тесные сени. Прислонившись к дверям в лохмотьях ватинной обивки, он прислушался. Внутри – безголосо. Чужих, значит, нет. Рванул дверь – вошёл в избу.

– Ой! – вскрикнула Дарья, полусогнутая над ступой. – Некошной тебя подери! Напугал-то как... По-человечески зайти не можешь? Вежливы-то люди стуком предупреждают.

Она разогнула спину, повернулась всем передом к Фёдору. В белой косынке, зеленоглазая, с полными губами; грудь часто вздымается от неровного, вспуганного дыхания; в грязных руках – сечка: видать, готовила кормёжку для бора.

Фёдор мимо ушей пропустил Дарьин упрек, широко, нетерпеливо шагнул к ней. Возбуждаясь солоноватым запахом её пота, травяным ароматом волос и вкусным дыханием из полуоткрытых губ, крепко обнял Дарью.

– Я к тебе пришёл, – горячо проговорил он.

– Вижу, что пришёл, – усмехнулась она, отстраняя его от себя локтями. – Фартук у меня грязен и руки не мыты – нарядку-то извожу. Ты нынче по-вечёрошному собрался. Как жених.

Но Фёдор не отступил. Нарочито демонстрируя, что пренебрегает своей нарядкой и попачкает её без сожаления, сильнее обхватил Дарью.

– Переломишь, леший! – крикнула она. – Очумел наготово. Катька вон сидит. До ночи потерпеть не можешь?

– Катька всё равно ничего не понимает.

– Зато я понимаю! Пускай неразумная, а дочь.

На низкой кровати, на пестравом лоскутном одеяле, в ситцевом платье в горошек, сидела юрдивая девочка, с большой лысой головой, с короткими, худыми, как спички, ногами. Она тормошила деревянную куклу с рисованным лицом и приклеенными волосами из мочала. Целыми днями эта малая устраивала трясучку бесчувственной деревянной подружке, хотела разбудить её, и радостно гикала, когда её пробуждала... Ресниц и бровей на лице Катьки почти не было, глаза прозрачные, голубые-голубые и потусторонние, с вечным застывшим в них удивлением; губы младенчески розовы и слюнявы.

– На сеновал пойдем, – шепотом позвал Фёдор, ему поскорее хотелось утешного Дарьиного тела, – раствориться, исчезнуть в её объятиях, слепо и безмысленно уткнувшись головой в светло-желтый лён её волос.

– Сразу да на сеновал? Быстёр парень, – ухмылисто сказала Дарья. Но смотрела на Фёдора не отвергая, как смотрит всякая баба на мужика, зная, что она ему любя и желанна, и рассчитывает нравиться ему ещё больше, а потому притворной неуступчивостью набивает себе цену. – Как чумной прибежал... Глазищи-то разгорелись. Терпежу нет... Погоди, руки вымою.

Дарья сняла фартук, скинула косынку, подошла к умывальнику. Ласково прижимала ладони к своему ополоснутому лицу. Перед зеркалом причесалась, мотнула головой, откидывая волосы назад, за плечи; они колыхнулись золотисто блестя, улеглись пышно. Фёдор смотрел на неё вожаденно, едва сдерживал себя, чтоб не дёрнуть её к себе за руку, притиснуть. А она то ли намеренно дразнила его, то ли допытывалась у зеркала: «Я ль на свете всех милее?» Наконец игриво усмехнулась, со стыдливой обаятельностью подмигнула своему зеркальному отражению... Уходя из избы, сунула Катьке мятный пряник.

Дарья – баба вдовая. Муж у неё застрелился из охотничьего ружья ещё на первом году супружества, не выдержав под ярмом Дарьиной измены и не оставив даже сиротки-наследника. Юрдивую дочку Дарья прижила от пьяного городского лектора, который как-то при-

езжал в Раменское с устным просвещением и кипой газетёнок. После выступления в избечитальне лектор изрядно приналёг на председательское угощение, а подвыпивший, осмелелый, познакомился потеснее с приглянувшейся ему Дарьей. Вскорости же предложил ей выйти за него замуж, напросился на постой и заночевал у неё. Поутру, очухавшись, протрезвев, лектор с ужасом вспомнил, что уже много лет женат, и, стоя на коленях, вымаливал у Дарьи прощения, заклинал, чтобы не пожаловалась его партийному руководству. Затем тишком выбрался на просёлок и смотался из Раменского, не дожидаясь назначенной председательской пролётки.

Природа наградила Дарью легким, распутным нравом и вдохнула в тело одурманивающую мужиков прелесть. Все, кто завязывал с ней шашни, впоследствии скучали по ней, вспоминали и тешились всю жизнь, довольно лыбились и страдательно скрипели во сне зубами. Но Дарья доступна не всякому, разборчива – путалась только с тем, кто ей истинно глянется, и двух любовников одновременно не держала; коль выберет нового – прежнему отворот. Фёдор угодил под любвеобильное крыло по шибкому влечению её сердца. Порой Дарье хотелось навечно прикрепить его к себе колдовским приворотным зельем, но пока на такой грех она не решалась, хотя от другого греха – вдовьей, бабьей радости – не отказывалась.

– Ты сегодня больно зёл. Чуть не задушил меня. – Дарья сидела на сене в накинутах на плечи кофте, выдергивала сухие травинки из своих спутанных волос. – Думаешь, не понимаю, чего зёл-то? Понимаю. По Ольге изводишься. Ну и дурак!

Фёдор смотрел на дощатую стену сеновала, разлинованную щелями, в которые приплюснута струился багрянец нисходящего солнца. Желание в нём отбушевало, он поостыл, сник и даже немного стеснялся Дарьи, прятал глаза. Ему хотелось поскорее уйти, но из приличия он лежал, выдерживал время; слушал доверительный голос.

– Ольга – это яд. Она видная. Косища тяжёлая, брови чёрные. Такие не на радость, а на беду мужикам роятся. Она тебя и не приголубит – измытарит только. Вырви ты её из сердца! Не страдай. – Дарья погладила Фёдора тёплой ладонью по груди, провела нежными пальцами по его лицу, коснулась губа. – Волосы-то у тебя ишь какие жёсткие! Как солома. По волосам видать – ты упрямый да ревнивый. Такому сладко не придется... А к Ольге, как осы к мёду, прилипать будут: начальство разное, военные, партийцы. Измучишься – не уследишь. Хорошо, когда красива-то жена у ротозея соседа. И полюбиться можно, и охранять не надобно... Ты думаешь, чего мой-то мужик застрелился? Сжёл себя. Не угадал меня, не спознал толком – вот и любил да мучился.

– Чего ж ты его мучила? – Фёдор покосился на Дарью, глянул в распах её кофты, где розовый сосок на большой груди торчал остро, влекомо, словно у целомудренной девки.

– Загуляла маленько, сорвалась. – Она усмехнулась, тесно прильнула к Фёдору. – Разве такого баского паренька вроде тебя пропустишь?.. Не хотела я тогда одного любить. Не могла. Да и всякая баба другого-то мужика испробовать хочет. Просто у одной смелости нету, у другой условия...

– Змея ты, Дашка, – оборвал Фёдор.

– Змея! – подхватила она. – А я тебе – в науку. Я чуть побольше твоего пожила. Попомни: Ольга сердце тебе изведёт, если смолоду от неё не откажешься. – Дарья лукаво прищурилась и мягонько подсказала: – Огуляй ты её да брось. Чтоб обидно-то не было. Пускай потом она по тебе сохнет. Это как в лапту играть: её черёд придёт за мячом-то бегать.

Фёдор насторожённо посмотрел в зелёные хитроумные глаза Дарьи. Промолчал.

Синька вечера мало-помалу растворялась в воздухе. Лес за озимым полем потемнел в сумеречной наволочи. Белесая лохматистая змея тумана стлалась в ложбине, где в узком руслице катился померклый ручей. Свежело. Скрылось за холмистым окоёмом земли в плоских подушках облаков красное остуделое солнце, оставило себя лишь нежным багряным тюлем на верху белостенной колокольни, куполе и кресте. Усталый ворон сел на телеграфный придорожный столб, нахохлился, приготовясь спать.

Привычным манером – по малиннику и через жерди – Фёдор выбрался на околицу, отрянул штанины. На этом месте, возле столба, который занял клювастый ворон, Фёдор не раз давал себе зарок «вошкаться с Дарьей», уговаривал себя перемогать мужскую похоть, блюсти верность Ольге. Но сколько раз зарекался, столько и отрекался, и как-то непредсказуемо, словно обзабывшись, оказывался здесь, чтобы незаметно проскочить на запущенный задворок, в заваленные барахлом сени – и дальше, к лакомому Дарьиному теплу.

В теле облегчением и усладой ещё береглося испытанное удовлетворение, губы ещё позуживали от поцелуев Дарьи, да и вся она, гладкокожая, трепетная, была ещё будто бы осязаема, не отрывна от тела; но разумением Фёдор ей уже не принадлежал.

III

Раменская молодёжь в зимние холода и осеннюю непогодицу устраивала вечёрки по домам: то у одного воскресное сборище, то у другого. По весенней поре, начиная с Пасхи и новоприобретенного советского праздника Первомая, когда достаточно оттеплет и подсохнет, парни и девки плясали на улице, под окнами тех, кто зазовёт. В последнее время все облюбовали для гулянок ближнюю окраинную пустошь, по-за домом главного здешнего игрока Максима. Плясовое место постепенно обустроивалось: возле вытоптанного круга появилось несколько нехитрых скамеек, а затем, по наущению девок, парни соорудили небольшой дощатый настил, чтобы чечётка каблуков резалась звонче, пробуждала и пламенила плясовой настрой.

Не ругай меня, мамаша,
За веселую гульбу!
Пройдут годы молодые,
Посылай – так не пойду!

Ещё издали услышал Фёдор высокий, с резким ивканьем голос Лиды, бойкой, миниатюрной плясуньи – первой Ольгиной подружки. За припевкой следовала усиленная дробь каблуков под разливистый проигрыш двухрядки. Максим наяривал лихо. Самоучением и даровитостью он одолел ряды тальянки и хромки, и ловко резвились его пальцы на клавиатуре, стройно ревели растянутые меха. Стихали переборы проигрыша, умеривалась дробь, и из круга неслась тенорная частушка озорливого Пани, ухажера Лиды, столь же охочего до топотухи.

К милке сваты приезжали
На кобыле вороной.
Пока пудрилась, румянилась —
Уехали домой!

Снова частили ноги плясавших, взрывала гармонь, раздавался чей-то присвист, хохот, девичий визг. Вечёрка в самом пылу!

Фёдор поздоровался с парнями, приветственно покивал головой девкам, обогнул плясовую площадку. Ольги ни в плясовом кругу, ни поблизости, среди гомонящих стаяк девок, не видно. Раменский комсомольский секретарь Колька Дронов, который, обычно, тенью следовал за «городским-то гостем» и опекал его на всяком молодёжном сходе, вертелся сейчас на вечёрке один, без приезжего.

Фёдор сел на скамейку к Максиму-гармонисту, легонько толкнул его локтем:

– Ольга не приходила сюда?

– Не-е, – протянул Максим в унисон ревушим низким басам.

– Совсем не показывалась?

– Сказал же...

«Значит, с ним она хороводится. Обоих нету. И Кольку Дронова сюда сплывили, чтоб не мешался», – Фёдор угрюмо уставился в землю.

От Раменского до Вятки-реки, до заречных предместий Вятки-города – всего-то не более шести-семи немощёных, ухабистых дорожных вёрст. Немало раменских людей – кто от голодной нужды, кто по призыву развернувшейся индустриализации – перекочевало на притягательное фабричной деньгой и городскими льготами жительство. Да всё же напрочь от родных мест не оторвались, оттого гости на селе – не редкость. Эти гости привозили с гостинцами послед-

ние городские толки, новые манеры, модную одежду на себе и сманивали раменских невест. Наведывались попроведать сельскую родню и гости залётные...

Когда Фёдор поднял голову и оглянулся на село, то увидел, что с конца улицы на вечерку размеренной походкой идёт Викентий Савельев, крупный, плечистый, в расстёгнутом светлом пальто, в галстук, в широких, по городской моде, брюках. Важен, точно гусь. Как тут не быть этаким, ежели с юных годов при партийной – то районной, то городской – власти? Рядом с ним степенно вышагивает Ольга. И Ольга-то в его компании – вроде не Ольга. Двигается павой, ногу ставит, чуть оттянув носок, этак вперёд и вбок; одета в лучшее своё шерстяное малиновое платье с белым наложным воротником, коралловые бусы на шее, и манера, как у городской гордячки, которая и корову-то ни разу не доила... Напустит на себя форсу, будто подменили. «Прынцессой» делается возле гостя-то!

Колюче оценив парочку, Фёдор нечаянно встретился взглядом с Лидой.

– Иди к нам! – замахала она рукой, приглашая в топающий круг.

«И вправду – спляшем!» – тряхнул Фёдор чубом и вышел на плясовую.

Вспомни, милка, ту аллею,
Вспомни садик зеленой!
Вспомни узкую скамейку,
Где сидели мы с тобой!

Фёдор пропел громко, с вызовом, и все догадались, откуда эта сила голоса. Пляска ожилилась, шибче разогнал гармонику Максим, хлестче застучали девичьи каблук по гулким плясовым доскам. Многие покосились на Ольгу и Савельева.

После наигрыша на серёдку плясовой выскочила Лида, взмахнула руками, припевкой предостерегла лучшую подругу:

Ах! Я любила Колю,
А потом – и Толю.
Ох! Теперь не знаю,
Где искать мне дрюлю?

Своим чередом и востроглазый смекалистый Паня, став против Ольги, глядя ей в лицо, выдал частушечку:

Я люблю тебя, девчонка,
Горячо и пламенно.
Ты не чувствуешь любовь —
Твое сердце каменно!

Ольга смутилась, её взгляд виновато побежал по лицам парней и девок.

Давно не секрет для сельчан, что Фёдор с любовной чуткостью стережёт каждый шаг Ольги. Она тоже клонила к нему, пусть менее принарядно, но непрестанно и давне. С этим считались, наторенную дорожку Фёдора к Ольге никто чёрной кошкой не перебежал, и поговаривали о его раннем жениховстве. Но под суждениями твёрдыми и устоялыми, как крепкий лёд на речке в морозную зиму, проскальзывали сомнения – как проточная вода под стилой толщью: мол, первая любовь неосновательна, мол, Фёдор для Ольги мил только временно, в её раннем девичестве. Да и что-то мечтательно-рассеянное, заоблачное складывалось в характере и поведении Ольги. Казалось, жизни и любви ей хочется широкой, не деревенского размаху: с особым обхождением, с театром, с филармоническим концертом, с букетом роз, а не полевых

лютиков. Да чтобы – гардероб, в котором платье из дорогого вишнёвого бархата... И тут для неё Фёдор не подходящ, хотя и пригож с лица и дерзок по натуре. И когда на село к новому колхозному счетоводу, перебравшемуся в Раменское из райцентра, стал наведываться племянник из города, Викентий Савельев, тогда и затрещал, как лёд по весне, привычный расклад. Кое-кто без сомнения узрел в Савельеве неотразимого жениха Ольге, а на Федьку Завьялова поглядывал сожалеючи, предрекая ему безусловную потерю. Но большинство раменских парней и девок стояло на стороне своего, коренного, – неспроста в плясовом кругу, где притопывал и Фёдор, пели о ветреных ягодиночках, о пустышной скоропорченной любви.

Максим-гармонист вывел проигрыш, Фёдор приподнял руку: стало быть, начнёт петь – не встревайте.

А мне Ольга изменила,
Хотя клялася любить.
За такой её поступок
Надо в речке утопить!

В частушке-то, знамо, фигурировала символическая «милка», но Фёдор присвоил анонимной вертушке конкретное имя. Ольга вспыхнула, губы у неё затряслись, в глазах – раскалённые угли. Савельев догадался, в чём происки, сделал шаг вперёд, словно собирался приструнить Фёдора. Но за шагом никаких действий не последовало. А Максим, испуганный щекотливой ситуацией, сдуру оборвал музыку. Ему бы наоборот – наигрывать, безостановочно замять в пляске выходку Фёдора, но двухрядка не к месту молчала. Последние редкие топы прозвучали на деревянном настиле. Все замерли.

Савельев строго смотрел на Фёдора, как на баламутного недоросля, но молчал. А Ольга, в кольцо общего внимания, вся горела: казалось, из неё тысяча раскалённых обидой слов сейчас вырвется наружу.

– Врёшь! – наконец выкрикнула она. – В припевке не так! Ты врёшь! – Она, наверное, хотела ещё что-то сказать, защититься, а может, выпалить ответную едкую частушку, но тут вмешался Савельев:

– Да, товарищ Завьялов, недостойно себя ведёте! Вы теперь комсомолец. Такое художество не к лицу. – Он отвёл глаза, вероятно, понимая, что сказал пустую казённую, и, повернувшись к Кольке Дронову, который тут и пасса возле городского наставника, добавил с покровительствующей иронией: – Если в делах вашей комсомольской ячейки товарищ Завьялов такой же остроумный, надо активней его привлекать к работе.

Фёдор стоял руки в боки, с вызовом и придуриной в кривой ухмылке. «Во как! Даже “товарищ Завьялов”. На вечёрке-то, как на собрание. Долдон начальственный! Вязать ещё здесь будешь...» Он хотел съязвить, казенными обращениями поглумиться над Савельевым, но пощадил его ради Ольги. И гневная, и молящая она была в этот миг. Будто просила: «Промолчи! Не вяжись! Отойди!» Фёдор отошёл назад. И случись же! Ступил сапогом на край настила неловко, нога подвернулась, подошва заскользила по влажной от вечерней росы траве. Фёдор упал.

– Так тебе и надо! – услышал он злорадный голос Ольги и общий смех.

Когда он вскочил, Ольга и Савельев от него отвернулись: хватит с него, сценка закончена. И тут зазвучал вальс.

Во всём Раменском вальс умела танцевать лишь Ольга. На селе поветрие на танцы ещё не распространилось, здесь только плясали; кадрили и вальс – развлечение для горожан. Однако Ольгу танцу на три счёта выучил под патефонную пластинку старший брат, который обжился в городе, а на выходные гордо прикатывал сюда на велосипеде (велосипед – тоже роскошь!).

Слуховитый Максим телодвижений танца не знал, но музыку ходовых вальсов усёк сразу и мог справно исполнить её на гармонии.

Скинув светлое летнее пальто на руки Кольке Дронову, оставшись в тёмном, с широкими лацканами костюме, Савельев учтиво наклонил голову к Ольге и подал руку. Рослый, представительный, не чета тутошним провинциалам, лузгающим семечки, Викентий Савельев и танцевал с достоинством: не мельча, не в суматошном вихре – спокойно, горделиво и отточенно. Максим, чтоб не ударить лицом в грязь, старался изо всех сил не опередить и не опоздать за его ногами, даже рот приоткрыл от прилежания. Но ещё больше старалась во всем подладиться под партнёра Ольга. Вздохнув до бледности, она скользила на носочках туфель, всем телом стремилась вверх, к своему кавалеру и казалась стройнее, утончённее в этом танце. Малиновое платье на ней покачивалось просторной юбкой, тугая коса приподнималась на ветру поворотов, открытая шея была напряжённо-красива, тонка.

Фёдор, отвергнутый и униженный, исподлобья смотрел на них. Он ненавидел Савельева и завидовал Савельеву. Никогда ему, Федьке Завьялову, не сподобится так чинно держать свою фигуру, так безошибочно «дрыгать» под музыку ногами; никогда так не потянется к нему Ольга: он и ростом на полголовы ниже Савельева, и в плечах уже, – никогда она с ним не будет так трепетлива, так хороша! Острее всего он видел, как грудь Ольги теснилась с грудью Савельева, как рука Савельева стиснула её поясницу. И под звуки этого проклятого вальса, вместе с предательски отдаляющейся Ольгой что-то уплывало из-под ног, словно бы в огромной земной тверди сместилась ось и началось непоправимое круговращенье.

Все глазели на танцующую пару зачарованно: статный танцор, у которого большие белые руки с белыми ногтями, держит крепко и мягко подругу за талию, иногда кажется, без натуги отрывает её от земли и несёт кружа, и они оба самоупоённо плывут по волнам танца, едва успевая перевести дух.

Напоследок взревев голосами, гармонь смолкла. Несколько девок восхищённо захлопали в ладоши. У Ольги вмиг разалелись щёки, глаза лучились от счастья, и казалось, ей хочется раскланяться публике, как польщённой артистке. Савельев всё ещё держал её за руку и улыбался.

Сумерки тем часом густели, облакивали округу туманистой мглой, мутили очертания. Максим после передышки опять врезал русскую плясовую: «Прощальная!»

Улучив момент, когда Колька Дронов подхалимно затянет Савельева в разговор о заботах комсомольской ячейки, Фёдор подошёл к Ольге. Тихо, заискивающе спросил:

– Ты счас куда идешь-то?

– Не твоего ума дело.

– С этим выхухлем, что ли?

– Когда ты к Дашке бегал, моего мнения не спрашивал! – отвернулась от него Ольга.

Фёдор смотрел на ровный витой жгут её косы, спадающий между лопаток, на легкие пряди волос над белой шеей, на её отчужденные плечи. Он неистово рвался к ней сейчас и мучительно негодовал на неё, такую глухую и очужелую. Дарья-то права: огулять её надо! Тогда кочевряжиться не станет. Дарья – баба учёная... Огулять! Хитростью добиться! Силой сломить! Любой ценой!

Но как ни настропалял себя Фёдор, даже смелости и уловки, чтобы взять Ольгу за локоть и снова заговорить, подольститься, у него не нашлось.

Вскоре с вечёрки все разошлись. Фёдор ни к кому в попутчики не примкнул, остался один на гуляночной пустоши.

От заката теплились тускло-оранжевые прожилки в надгоризонтной хмари. Небо над Раменским полонила высокая гигантская туча, распростершись с севера, не давала вылушиться из глубины первым звёздам; а ниже, под пологом тучи, плыли под напором неощутимого на земле ветра, будто седенький дым, лёгкие облачка. Со стороны дороги, ведущей через

поскотину в соседнюю деревню, нежно и тонко доносилась тягучая девичья песня. Из ближней рощицы слышалось, как выщелкивает соловей – то зальется в сладкозвучной трели, то неожиданно умолкнет, словно старается послушать эхо своего голоса. Где-то на краю села громко и резко скрипнула в тишине калитка.

Фёдор сидел на скамейке, вспоминал, как свалился на виду у всех и был осмеян, в ушах звучал вальс, – ненавистный, в котором в сцепке с Савельевым шалела от радости Ольга... «Вы теперь комсомолец», – передразнил Фёдор, припомнив предупредительную реплику Савельева. Так ведь Ольга и уговорила! Вступай да вступай! Чего от других отстаёшь? Книжки подсовывала, устав заставляла зубрить. Ей же угодить хотел! Фёдор сплюнул, выругался. «К Дарье пойду! К ней! Она не такая – завсегда примет». Он представил, как ненасытно продолжит мучить Дарью своими ласками, мучить назло Ольге, назло самому себе.

Он не отправился через село напрямки, решил добираться окольным путём, чтобы избежать поздних встреч вблизи Дарьиного дома, от которых липуче стелется людская молва и досаждает Ольги. Шёл, глубоко сунув руки в карманы брюк, спотыкаясь о дорожные кочки. Как пьяный.

«Не надо бы к Дарье-то. Глядишь, и Ольга бы хвостом не крутила, если с Дарьей порвать. Ну? Куда теперь?» Он остановился у развилки. Здесь к дороге выбиралась из оврага тропинка. К Дарье – дальше, по околичной дороге, а домой – по тропинке, через овраг. Он почему-то вспомнил ворона, который сидел на телеграфном столбе против Дарьиного тына, мысленно кышкнул на него: «У-у, вражина!» – и свернул на тропинку.

IV

К вероисповеданию Фёдор был безучастен: ни поясным, ни земным поклоном киота не удостоивал, персты в молебную щепоть не складывал, в церковь ступал по крайней необходимости – на отпевание усопших родственников. Танька же, напротив, росла богомольна и веропослушна, от покойной бабушки Анны, отцовой матери, унаследовала истинную преданность и почитание Пресвятой Троицы. Елизавета Андреевна по вечерам зажигала лампадку в красном углу и шептала молитвословные заклинания, соблюдала посты и любила праздничные церковные службы; Егор Николаевич, пусть и не слишком строго придерживался православных канонов, однако неизменно после всякой еды и перед любой работой троекратно осенял себя крестным знамением, а на Рождество шёл к заутрене. Семья Завьяловых, словом, богоугодна, лишь Фёдор вере Господней не подчиним, бочком стоял пред святыми иконными ликами. Его за это не корили, сожалели только, что к семейной традиции он не приник.

Фёдор не лез в себя, не доискивался, почему так случилось, кто поселил в нём религиозное равнодушие, просто всё это оставлял за пределом своих желаний и потребностей. Но и против веры ничего худого, никакой каверзы не имел, равно уважителен и к атеисту, и к схимнику. Верят люди в Бога, не верят – их кровное, неотъёмное право. Высится крест над церковным куполом – так, верно, и надо. Треплется на ветру безбожный красный флаг над сельсоветом – и так, значит, надо. Но что есть в природе, в мире, во всём устройстве жизни человеческой некая загадочная – и божественная, и дьявольская – сила, которая то уберёжёт от чреватого соблазна и омута, то обратит судьбу в паутинку: прикоснулся к ней – и нет её, скомкалась, – с этим соглашался и чудодействие признавал.

И уж наверняка не божественная, а дьявольская указка уводила его в этот вечер от безотказной полюбовницы Дарьи.

Он спустился в тёмную сыростную прохладу оврага, между кустами молодых лопухов и крапивы пошёл на чернеющие впереди углы крыш, беспросветные лохмы деревьев. В какой-то момент вздрогнул от неожиданности, пошатнулся и остолбенел. Привидением мелькнуло светлое знакомое пальто. Он заметил его наверху, на краю оврага, там, где шла беззаконная длинная стена сарая, возле которой лежали старые брёвна. Днём на этих брёвнах, на припёке, посиживали пацанята, плевались из папоротниковых трубок, лупили из рогаток по воробьям. Вечером здесь всегда было безлюдно, укромно; в позднюю пору оврагом ходил исключительный житель. Савельев и Ольга, должно быть, на то и полагались.

Не так много минуло времени с той поры, когда Фёдор впервые поцеловал Ольгу – не мимоходным, чмокающим поцелуем, а полноценным, безудержным. Потом он с весёлой гордостью вспоминал первозданный вкус её губ, застенчивую неумелость её объятий. Она целовалась тогда ещё безответно, жестковато, не по-Дарьиному: задыхалась от поцелуев, сильно зажмуривала глаза и всего пугалась – сторонней подглядки, чуждого шороха, собственной дозованности. Со временем Фёдор добился от неё потачек, растормошил опасливую девственную страстность и уже обнимал Ольгу расслабленную, с мягкой услужливостью приопухших горячих губ; гладил её по груди, по бёдрам, хотя порой, спохватясь, она делала ему наивно-выскалеченный выговор за подобные вольности. Теперь её, предательски стоворчивую, жал Савельев – без долгих ухаживаний достиг к ней.

Глаза у Фёдора, как у кошки, и в потёмках стали зрячими. Да и обострённое чутьё угадывало, что происходит на краю оврага. Ольга стоит в наброшенном на плечи савельевском пальто (чтоб не зябла), а Савельев запустил в распахнутые полы руки, обнимает её, липнет к её лицу ртом. Временами они о чём-то шушукуются, посмеиваются, а затем опять умолкают, фигуры сливаются, полы пальто, под которыми шарят по Ольгиному телу савельевские руки, вздрагивают.

«Лапает, гад!» – Фёдор стиснул кулаки, хотел броситься наверх. Но остановился. Ползет по крутому овражистому склону – нашумит, спугнет... «Нет, с другой стороны зайду. Пускай мацает... Застукаю так, чтоб...» Он часто дышал, все мышцы напряглись в ярости, и по жилам уже лился кипяток. Ничто не могло обуздать безумие ревности.

Через минуту в избе Завьяловых звянькнуло стекло в оконной раме и грохнулся об пол горшок с цветами. За ножом, который остался на подоконнике, Фёдор полез, не входя в избу, с улицы; знал, что створки окна не заперты.

Елизавета Андреевна тут же проснулась, нервная дрожь охватила её: вор ли, бес ли, котёнок ли лазил по окошку – в любом разе это был зов беды. Танька тоже проснулась, испуганно зашептала в темноту:

– Кто там? Тятя, кто там?

Егор Николаевич поднялся с постели, запалил фитиль в керосиновой лампе.

В то время, когда разглядели разбитый глиняный горшок, комья чернозёма и погубленный, бархатисто-рдяный цвет герани, со стороны оврага донёсся истошный визг. Елизавета Андреевна охнула и почувствовала, как во чреве неотвратимо, стремительно тяжелеет. От боли всё помутилось в глазах, и она опрокинулась бы на пол, но вовремя подоспел Егор Николаевич. Танька от страха прикрыла ладошкой рот.

...Неслышно, рысёй поступью, Фёдор прокрался к углу сарая. Затаился на миг. Чутким звериным слухом уловил: шелеста голосов нет – лобызаются, значит. И выскочил к брёвнам.

– Шалишь, танцор! Шалишь, падла! – С лютой силой разорвал слитную парочку.

Ольга отпрянула к стене сарая, вскрикнула, пальто с её плеч упало. Савельев и сказать ничего не поспел, только вытаращил в испуге глаза. Нож легко, словно в подушку с сеном, вошёл в живот Савельева сразу по рукоятку. Фёдор даже очумел от такой уступчивой рыхлости тела. «Туда ли попал-то?» – брякнуло в его воспалённом мозгу. И проверяя себя, надавил на нож, подраспорол для убедительности брюхо. На брёвна, куда упало светлое щёгольское пальто, согретое изнутри девичьим теплом, повалилось дородное мужское тело. Из распоротого живота, в распах пиджака, на белую рубаху, вместе с кишками пенной слизью выступила пахучая обильная кровь.

Ольга визжала в истерике, выла, звала на помощь, куда-то бежала, хватаясь за голову; опять визжала и опять вопила о помощи диким голосом; вырывалась из чьих-то рук и снова порывалась бежать за спасением...

Село Раменское содрогнулось. Неурочно поднялось на ноги, всполошённое ночным криком.

В слепых окнах замерцали огни. Комсорг Колька Дронов в сапогах на босу ногу пробежал по улице, громко матерясь, посылал куда-то Паню; встрёпанная Лида в фуфайке на ночную рубашку кинулась искать Ольгу; прямо в окошко вылез из избы на крикливый шум Максим-гармонист; повыскакивали из домов девки, бабы, парни, старухи и мужики; возбуждённые, как на пожар, шли смотреть на «убитого», которого несли по селу при свечных фонарях на широкой брезентухе в дом счетовода.

В подворотнях залаяли собаки, заорал разбуженный петух, лошадь с конного двора ответила на громкие человеческие голоса пронзительным ржанием.

– Господи! Да кто ж его этак? За што?

– С дороги прочь! Посторонись! Разохлались...

– Говорят – Федька, Егоров сын. За девку.

– Послали ли за фельшером?

– Паня побежал.

– Вроде дышит. А кровищи-то! Как из поросенка...

– Пьяный, что ль, Федька-то был, за нож хвататься?

– Леший их разберёт!

– Поймали?
– Где ж ты его сразу-то ночью поймаешь? Сбежал мерзавец!
– Вон отец его идёт.
– Да он-то за него не ответчик.
– Пошто же ты, Егор Николаевич, сына-то распустил?
– Посадят теперь.
– В тюрьме места хватит.
– А я бы и расстрелял. К нам человек в гости приехал, образованный, партийный. Не ему, засранцу, ровня! А он ножом придумал...
– Из-за кого? Из-за кого, ты говоришь?.. Фу ты! Мало ему девок-то. Почтище Ольги полно!
– Ну, чего помалкиваешь, комсомольский вожак? Теперь пятно на всех нас ложится.
– Ольге-то бы тоже шлейф по заднице! Чтоб за дальние углы не шастала!
– С вечёрки у них пошло. Там повздорили.
– Вот матери-то горе! Бедная Лизавета.
– Да и не говори. Для неё двойное горе-то. Роды у неё начались. Танька, дочь-то, за бабкой Авдотьей сбегала... Выкидыш будет. Недоносила...

Поначалу, выскочив из-за угла сарая, от оврага, Фёдор бежал в беспамятстве. Задыхаясь от летящей навстречу темноты, оглушаемый ударами своего сердца, стегаемый в спину разносившимся Ольгиным визгом, он отчаянно рвался к безлюдью и неведению. Даже когда оглянулся назад и появилась осознанная уверенность, что никакой погони за ним нет, он продолжал свой изнурительный побег.

Остановило Фёдора странное чувство – ощущение того, будто нож, который он машинально держал в руке и почему-то не выронил, не выбросил сразу, у оврага, потяжелел от оставшейся на нём крови. Фёдор осмотрелся, сообразил, что находится вблизи ручья, и стал спускаться в туманную низину к воде. Сперва он брезгливо оттирал нож от крови о росистую траву, а затем начисто, с донным песком, отмывал лезвие и рукоятку в воде, стоя на берегу ручья на коленях. Не поднимаясь с колен, он сместился выше по течению и, утоляя жаркую сухость внутри, долго пил из ручья, наклоняясь лицом к воде, до онемения обжигая горло её холодом. Промокнув рукавом губы, он поднялся, глубоко вздохнул и только сейчас удивился, что нож всё ещё неистребимо сидит у него в руке. Наконец он швырнул его в траву, за ручей, освободил себя от него и впервые отрезвлённо подсадовал: «Ножом-то я зря. В руках бы силы хватило, чтоб удавить выхухля. Ножом зря...»

Фёдор вышел с низины, стал озиаться, вглядываться в чёрное средоточие строений Раменского, вслушиваться. Он и сам не понимал: то ли явно слышит, то ли напуганно чудятся ему чьи-то голоса, псовый лай, громкое хлопанье дверей. Вдруг он увидел, что в окнах сельсовета, и в первом и во втором этажах, появились огни. Эти огни казались незнакомо-яркими, пронизывали своим чрезвычайным светом всю округу, созывали народ на поимку беглеца... Эти огни погнали Фёдора дальше.

Он опять вернулся в низину, где было неколебимо спокойно, туманно, темно и беззвучно. Только вода в ручье бормотала на перекатах о чём-то непоправимом.

V

Глухой ночью возле лесной сторожки разразился лаем крупный серый кобель. Тёмный лес загудел собачьим «гавом», зазвенел эхом. Птица перепёлка встрепенулась в траве и спр-сонок слепо полетела в безлунную темень, зацепляя крылами ветки.

«Кого несёт?» – проворчал дед Андрей, приподнялся на лежанке. Он сообразил, что кобельев брѣх поднят на человека: волк летом смирен, лось, медведь, кабан ночью из своего логова не попрутся – незачем. Но только дед Андрей успел додумать это, как собачий лай об-орвался; в лесных стволах смолкло и эхо. «Видать, свои. Надо посветить».

Он нащупал в печурке спички, зажѣг в фонаре свечу. На бревенчатую стену сторожки, протыканную пепельно-зелѣным мхом, упала лохматая старикова тень с большой взѣро-шенной бородой. Хромая, стуча деревянной ногой по некрашеным половицам, он вышел на крыльцо и, ещё не различив впотьмах гостя, услышал его частое дыхание.

– Кто такой?

– Это я, дед Андрей! Я! – голосом внука отозвались потѣмки.

– Федька? Случилось чего? Пошто в ночь-то?

Фѣдор подбежал к крыльцу, остановился перед фонарем:

– Я человека убил, дед Андрей! Ножом. Насмерть.

Старик отшатнулся назад, будто перед ним не кровный внук, а злой оборотень. Припод-нял фонарь выше, разглядывая.

– Это правда, дед Андрей... – тихо вымолвил Фѣдор.

Солѣная горечь комом заполнила Фѣдору горло, от слѣз стало тепло и мутно в глазах, бородатое лицо деда Андрея и пятно свечки под стеклом фонаря искосились, размазались в пелене слѣз. Фѣдору хотелось покорно припасть к деду, уткнуться в его грудь, как было когда-то давно, когда он, сбежав из дому, голодный, надрогшийся пришѣл к нему рассказать о несправедливости отца. И дед Андрей тогда принял его с ласкою. Но теперь дед стоял отрешѣнно-суров, смотрел не на Фѣдора – в сторону, в лесную мглу. Широкий нахмуренный лоб с чѣрными глубокими бороздами, остановившиеся глаза под толстыми веками, седая путаная борода, повернутая вбок, – старик, вероятно, о чѣм-то тягостно думал.

Фѣдор сглотнул горькую слюну, незаметно вытер пальцами со щѣк слѣзы.

– Гонятся за тобой? – наконец спросил дед Андрей.

– Не знаю. Наверно, уж рыскают.

Они вошли в сторожку. В сенцах фонарь высветил большой необитый гроб, торчмя приставленный к стене. Дед Андрей загодя сколотил для себя эту привольную домовину, чтобы избавить кого-то от хлопот в будущем. Гроб Фѣдору почему-то напомнил выпученные, предсмертные глаза Савельева, когда нож утонул по самую рукоятку в его, казалось, совершенно пустом, бестелесном животе. Фѣдора опять тошнотворно мутило и мучила нескончае-мая жажда.

– За кой грех убил-то?

– Он девку у меня с вечѣрки увѣл. Я с ней давно, а он сунулся... – Фѣдор выпил большой ковш воды, сел на табуретку, запустил руку в свои волосы, трепал чуб и свою душу от угрызе-ния: – Ножом-то я зря... На меня как затмение нашло. Сам себя не помню... Они за сараем прятались, а я углядел... Как нож-то в руки попал, я и сам понять не могу. Захлестнуло меня. От обиды всего вывернуло...

Старик покачал головой:

– И ты, Федька, по моей стѣжке пошѣл. То ли кровь у нас в роду горячая, то ли бабы всё язвы попадаются... Да-а, хуже нет, ежели на молодой судьбе баба узел сплетѣт. – Старик

опять о чём-то смурно, окаменело задумался, – древний, обросший седым волосом, с толстыми жёлтыми ногтями на жилистых руках, сложенных сейчас в замок.

Родовое древо, к которому юным отростком лепился Фёдор, по материной ветви не единожды подтачивали любовные неурядицы. Отец деда Андрея, Фёдоров прадед, кавалерийский офицер, участвовавший в Крымской кампании, стрелялся на дуэли с полковым врачом, – стрелялся из-за любви, из-за дочки армейского интенданта. Интендантскую дочь он метил себе в невесты, но полковой лекарь попутал намеренья... Дуэль обошлась без душегубства, лёгким ранением доктора. Но честолюбивого офицера судили, разжаловали, сослали в Вятскую глухоманистую губернию.

Здесь ссыльный пращур Фёдора женился на небогатой купчихе, но вскоре и малое приданое просадил в карты, назанимал денег, заложил дом, недолго победствовал и скончался в болезни, а детей пустил по миру. Одного из них – Андрея – кривая вывела в управляющие к помещику Купцову, чьё имение располагалось возле Раменского-села.

Омрачённая дуэлянтской пулей родословная и дальше чернилась судом и ссылкой. Сам дед Андрей, в ту пору видный, недюжинной силы молодец, угодил в тюрьму в первый раз по бабьему подвоху и подлости. Молодая жена помещика Купцова, шальная красавица Анфиса, самосильно набилась к Андрею в любовницы и даже уговаривала бежать с ней от постылого, жадного помещика-мужа. Но когда слух о греховной связи достиг мужниных ушей, Анфиса оклеветала Андрея, навесив на него грубое принуждение и насильничанье. «В землю живого зарю! Голову оторву! Собаками затравлю! Убью Андрейку!» – возопил Купцов и с револьвером кинулся к амбару. «Да нет, ты уж погоди меня убивать-то», – Андрей вышел из-под повети и вовремя перехватил ярую, вооружённую руку. Повалил помещика наземь. «Убью! Убью!» – шипел Купцов. Но Андрей приставил дулю к его груди и его же рукой спустил курок. Усмирил хозяев гнев, выбрав себе на будущее острог и последующую высылку.

Однако не в последний раз вела деда Андрея нелегкая к судебному приговору. На второй долгий срок дед Андрей угодил в тюрьму за бандитизм, – уже после семнадцатого года, при Советах. «Ещё не меряно, у кого бандитизму более было: у комиссаров или у нас», – говаривал дед Андрей, если кто-то из раменских поминал ему нечистое прошлое.

Всю эту историю Фёдор знал приблизительно – из скупых дедовых слов и кратких откровений матери...

– Да-а, – хмуро повторился дед Андрей, – невезучая доля из-за беспутной бабы голову подставлять. Ни на одну бабу надежи нет, да только поймёшь это поздно.

На крыльце сторожки раздались частые глухие стуки. Фёдор встрепенулся, остро прислушался, замер. Кобеля, видать, донимали блохи, он чесался и нечаянно колотил лапой по крыльцовым доскам. Теперь вот живи и бойся каждого стука, шороха, даже тараканьей возни за печкой!

– Сколько тебе за ту бабу-то присудили? – спросил Фёдор, чтобы говорить с дедом, не молчать, – отвлечься от ночных звуков, в которых напоминание и опасность.

– Давно судили, при царёвом правленье. Наговору от свидетелей пошло много – на пять годов и отправили. Хотя мой-то негодник в живых остался. Поуродовал я его. Не до смерти. Пуля насквозь грудь прошла.

Дед Андрей легонько махнул рукой: мол, дело старое, время пережитое. Не нуждался в красноречивых подробностях и Фёдор.

Что-то общее, не просто родственное, а вышнее, судьбинное соединяло их теперь. Один – стар, сив, с деревяшкой вместо левой стопы, – он уже испил горькую чашу и сколотил себе заблаговременный гроб. Другой – молод, ретив, крепок, – он к такой же чаше только-только прикладывался.

– Чьих он будет? – спросил дед Андрей.

– Не нашенский. Счетоводов племяш. В партийном райкоме где-то пробывался.

Старик повёл плечом:

– Эк тебя угораздило – партийного-то! За такого комиссары тебе много отвесят. Кабы ещё к стенке не подвели. Нынешняя власть дюже строгая, подолгу разбираться не любит. Да и тюрьмы не те... Колени у тебя, Федька, трясутся. Не хотца в тюрьму-то?

– А тебе хотца было?! – вскипел Фёдор, вскочил, едва не сшиб со стола фонарь.

Дед Андрей на его пылкость внимания не обратил, продолжал с деловитостью в тоне:

– Уходить тебе, Федька, надо. Дружок у меня в Кунгуре живёт. Мы с ним вместе баловали когда-то, по одному делу шли. Верный дружок, меня помоложе, расторопнее. Мозговитый. К нему поди. Он тебя покуда в тайге пристроит, никакие комиссары не дорыщутся. А после куда-нибудь на работу определит, жильём пособит.

– Ты что, дед Андрей? Мне в лесу волком жить?

– Спервоначалу в лесу. Отсидишься, чтоб временем твоё дело запуржело. А потом умён да проворен будешь – документы выправишь. Там тебе помогут. Россия-то велика, есть куда приткнуться. Только сюда уж носу не кажи. Отрезанный ты для своих-то.

Фёдор пристально смотрел на деда Андрея и не узнавал его. Такой прямодушный, понятный, – дед разворачивался теперь новой, неведомой стороной, с особенным толкованием и подходом к жизни.

– В моё-то время, в двадцатые годы, за комиссарскую кровь на месте в расход пускали... Уходи, Федька. Кто знает, может, и эта власть рухнет, как царёва. Ничего вечного-то на свете нету. И надежду имей. Переверотится, глядишь, всё – тогда и возвернешься. Простят, позабудут. Большевики-то сами тюремные нары пообтирали – то каторжный, то беглый ссыльный. А нынче, вон вишь, герой на герое... Запоминай, чего скажу. Твёрдо запоминай.

Фёдор внимательно слушал, как пробраться к Предуралью, в Кунгур, где сыскать названного человека, как представиться, чего ему передать. Интонация у деда Андрея была необычная – приглушенная, с таинственной хрипотцой; слова весомые, ничего пустого, в каждом звуке значение, – так, вероятно, сжато и ёмко, когда под словом и первый смысл, и второй, и третий, говорили на бандитских сходах. Что-то непотребное, вывихнутое было в этом, и в то же время спасительно-горько-сладкое, вроде как представлялась возможность откупиться за злодеяние краденными деньгами. Ещё вот украсть – и откупиться...

– Еды возьмешь на дорогу, хлеба. Денег на первое время тоже дам. – Дед Андрей вытащил из-под лежанки небольшой, обитый полосовым железом сундук, порылся в нём, достал купюры.

Наблюдая за действиями этого «хромого разбойника» – так некоторые называли деда Андрея в Раменском и побаивались его, глядя, как плутает его косматая тень по бревенчатым стенам и низкому потолку, замечая ненароком закоптелую, с глубоким чёрным зевом печь, исшарканный веник в углу у двери, мёртвую муху на подоконнике, Фёдор проникался тоской, горькой задумчивостью и дымом таёжного бандитского костерка, нечистоплотностью скитальческого, пещерного быта. Он даже передёрнул плечами от мнимого ощущения, будто покрывается звериной вонючей шерстью. Но вместе с этим ему открывалась неумолимая истина: отныне он, Фёдор Завьялов, преступник, обречённый на жестокое наказание, и дед Андрей для него первый поводырь в том лиходейском мире, который прежде был скрыт буднями простой крестьянской жизни.

– По большаку-то не ходи. Как пройдёшь кладбище, сворачивай к Плешковскому логу. Далее – по тропе, к Вятке. На паром не садись, людно там. Переправляйся на лодке. В ближней деревне с кем-нибудь сговоришься.

Казалось, всё теперь сказано. Время уходить. В селе наверняка уже догадались, что Фёдор ищет пристанища у «разбойника» деда Андрея.

Они вышли на крыльцо. Старик осветил фонарём ночь. Она оставалась по-прежнему безлунна, нема, с вязкой тьмой в глубине лесной чащи. Но где-то высоко и далеко по-над лесом,

в каком-то незримом движении туч угадывалось первое волнение утра и ранний рассвет. Майская ночь скоротечна, а за ней – день, всеобщее пробуждение и неведомая дорога и судьба.

Дед Андрей обнял Фёдора, толстой грубой бородой уперся ему в плечо.

– Не свидимся больше, Федька. Стар я. А у тебя долг путь. – Глаза старика застеклились, руки крепче обняли внука. – Прощай, Федька, бесова душа!

Старик, фонарь, приземистая сторожка сгнули в темноте. Ласковый к Фёдору кобель проводил его по узкой лесной дороге и отстал. Повернул назад – к старику-хозяину.

VI

Уходил Фёдор неторопким шагом. Спешить до новой жизни не спешил. К деду-то Андрею он летел, будто хотел выскочить из пут кошмара, – летел и безоглядно надеялся на его мудрую выручку и утешение. Но дед Андрей сердобольные нюни разводить не привык, к пустой утешительности не расположен. Это не покойная бабушка Анна, которая бы и поговорила слёзно, и посочувствовала всем сердцем, и покормила бы блинками с вареньем перед несладкой тюремной сидкой.

Занималось утро. Отряхивался от потёмок лес. Из слитной мглы проступали чешуйчатые, шероховатые стволы сосен. Холмистым овалом прояснился огромный муравейник. Длинная еловая лапа колюче вычленилась на посветленном сером небе. Белостволье берез пообчистилось от тёмной сини, подыгрывало скромным отражением рассветному куполу неба. Ломкую, чуткую пору предутрия вот-вот должен был озвучить первый птичий голос.

Пройдя старую заглохшую вырубку на краю леса, Фёдор приблизился к погосту. Перемещаясь с редкими кустами, кладбищенское пространство унижали невысокие разномастные кресты. Фёдор попробовал отыскать глазами крест над могилой бабушки Анны. Он собирался что-то сказать ей на прощание, в чём-то признаться и покаяться или хотя бы кивнуть головой её надгробию. Но он не нашёл взглядом родной надмогильной метины. И только почему-то не ко времени вспомнил, как бабушка Анна бесподобно собирала ягоды: нежно-красную, в золотых зёрнах землянику и матово-лиловые черничные бусины. Не находилось в селе равных ей ягодниц, да и места она знала свои, заповедные, доступные лишь для её ухватистых рук. Но отвлечённые, неместные воспоминания о бабушкиных полных лукошках скоро обсеклись: от кладбищенского нагромождения крестов исходил тяжелый, мутящий душу намёк о Савельеве. «Зря ножом-то даванул. Может, тот жив бы остался... Неужто теперь под чужим именем скитаться?»

Фёдор пошагал дальше. Он, однако, и не заметил, как прошёл мимо Плешковского лога. Опоздавшим умом вернулся назад, к назначенной дедом Андреем безопасной повёрке, но ноги вели его своей дорогой. Дедов план он не отверг напрочь, но положил в глубь себя, для самого беспросветного часа, который ещё не пробил. Теперь же, в эти минуты раннего утра, его путь лежал к Раменскому. Его вела туда неодолимая безотчётная сила. Всё естество подчинялось только ей. Фёдор никому не смог бы понятно объяснить, зачем туда возвращается: сдаваться околоточному милиционеру он не собирался, заходить в отчий дом – не зайдёт, – но если бы его подстерегла засада, он бы твёрдо и неуступно заявил поимщикам: «Дайте я посмотрю на село, а там хоть вешайте...»

Он поднялся на угор, где когда-то, невдали от опушки леса, располагалось родовое имение помещика Купцова. Разорившееся ещё в первую русскую революцию, сторовшее дотла в полуме революционных низвержений восемнадцатого, – здесь остались от знатных построек лишь груды битого кирпича, бесполезного ржавого хлама, обгоревшие, замшелые бревна. Дикий захапистый куст и бурьян затянул, как забытую могильную грядку, бывшее хлопотливое жительство. Время искрошило судьбы обитателей помещичьего дома, переменило участь людей дворовых, к которым принадлежал и дед Андрей; здесь он и повёл отсчёт своим мытарствам.

Фёдор сел на край обомшелого, трухлявого бревна, положил возле парусиновую котомку с дедовыми припасами, опёрся локтями на колени. Отсюда, с угорья, Раменское просматривалось полно, как на ладони.

Ночные серые тучи, слившись в одно грузное тело, сдвинулись прочь от востока. Румяная зорька омолодила половину неба, первой косвенной позолотой солнца отметилась на пробуждавшейся земле. В лесу гомонили птицы. Ветер с росной прохладой потянул с севера, волной

прокатился над озимым угодьем в сторону села. В Раменском от порыва этого ветра шевельнулся красный флаг напротив церкви.

Не раз Фёдору казалось, что флаг и крест – вроде как разные стороны человеческого нрава. Он не мог, не умел это определённо и метко выразить словами, но по наитию находил в треплющемся флаге – бесшабашность, вольнодумство, переменчивость: ветер расправляет его на все стороны света, полощет, рвёт, тянет с собою... – а крест ветру неподвластен: в нём преданность вечным устоям, твёрдость духа и сила мудрости. Но как ни чужды друг другу флаг и крест, порой в них угадывалось что-то объединительное, сходное: оба они вознесены к небу, к какой-то дальней неизбывной мечте...

Неотрывно-долго Фёдор смотрел на крышу родного дома. Доселе не веданное чувство скребло ему душу. Как же так-то? Вон дом-то – близко, а не войдешь. И полверсты не будет, а добираться, может, несколько лет. Ему живо, будто въявь осязаема, предстала домашняя обстановка, скрип сенных половиц, тёплый житный запах русской печи, в которой мать пекла караваи. В рамке, в простенке между окон, висит украшением материно рукоделье – мелким крестиком вышита тонкая девушка с высоким кувшином; потускнелый медный подстаканник стоит за зелёным стеклом в буфете; пузатенькая кадка с водой с висящим сбоку ковшом... А сойти с двухступенчатого крыльца во двор – здесь колодец под навесом, бочка, чуть подальше телега с опущенными, как две тощие измождённые руки, оглоблями... Когда-то Фёдор, мальчишкой, вместе с отцом вёл со двора Рыжку на колхозную конюшню. Жеребца отец сдавал опустя глаза, будто стыдился перед Рыжкой за измену, а новую сбрую (упряжь тоже принуждали принести) сдавать не захотел; закопал её на краю огорода, захоронил в яме и почему-то до сей поры не отрыл и не воспользовался, хотя и можно бы...

В Фёдоре ожили голоса. Отцова – малословная негромкая речь. «Чего, мать, давай-ка ужинать», – произносил он, разгибая застывшую от сапожнической сутулой работы спину; Танькин частый, звонкоголосый говор: «Чё наделал-то, Федька? Ох, и попадёт тебе...»; и материно мягкое, неподражаемое «Фединька». Она его иначе не называла, пускай он даже в провинности.

В последние месяцы мать, беременная, с пятнами на лице, ходила сторожко, неслышной походкою. То ли нагадала на картах предсказательница бабка Авдотья, то ли от сильного желания, она уверовала, что родит сына. Поглаживая округлый, раздавшийся живот, она тихо люлюкала, мурлыкала песни тому, кто существовал только в ней. «Я уж все колыбельные-то позабыла, – услышал однажды Фёдор её разговор с ним. – Но ничего. Вспомнятся. Вот рожу тебя – и вспомнятся». Мать уже приготовила ему распашонки, а из изношенной жакетки скроила «мягонькое одеялышко». «Для братика», – объяснила она Фёдору и покраснела от этого объяснения. Потом прижалась к Фёдору и отчего-то расплакалась.

...Невольно скользили глаза по крышам домов. Ближе всех сейчас к Фёдору крайние от околицы, два худеньких вдовьих дома: многолетней бабки Авдотьи и молодой Дарьи. Что-то боднулось в теле Фёдора, похотливое возбуждение поднялось на миг, окатило нутряным жаром. И стухло, отошло. Вот и с Дарьей разошлись пути-дорожки. Прежде всё мучился, как распутаться с ней ладом, отстать по-мирному, чтоб не обидеть, – а тут, разом, всё и распуталось. Другие будут целовать тебя, Дашка!..

И тут же Фёдор тяжело, самоистязательно накрыл взглядом дом с белой сиренью под окнами. Кудрястая цветочной белизной сирень дразнила, бередила... Кому теперь Ольга-то достанется? Чья будет? И опять безжалостным, будто ножевым, острием пронзила сердце боль-ревность, загудело в голове от отчаяния, зазвенел в ушах Ольгин крик с призывом о помощи. Яркой вспышкой охватило прошлый вечер: край оврага, Ольга в объятиях Савельева, нож в руке. Что-то свирепое, сатанинское наполнило грудь. Надо было их обоих. Зараз! И её вместе с ним положить! Одново бы отстрадать на всю жизнь. Или бы – под расстрел... Эх, бесова душа!

Фёдор поднялся с бревна, окинул родное Раменское ещё одним всеохватным, прощальным взглядом и через поле направился в низину, к ручью, к той береговой осоке, куда зашвырнул отмытый от крови нож.

VII

Спустя несколько недель после Фёдоровой расправы над Савельевым, в июньскую знойную пору, село Раменское всколыхнуло другое событие.

Дарья, страдая за судьбу Фёдора и шибко истосковавшись по его сытным ласкам, повстречала посреди улицы Ольгу. Ольга, избегавшая с ней всякого касания да и вовсе по возможности таившаяся от односельчан с их молчаливым порицанием, не успела загодя своротить в проулок и миновать злополучного свидания. Дарья же случая не упустила, задиристо окликнула:

– Чё, краля? Умыкала Федьку в тюрьму, теперь, поди, рада ходишь? Вертела хвостом, уханькала парню молодость. Бесстыжки твои глаза!

Ольга вспыхнула, как огонь на бересте. От гнева с неё будто искры посыпались. Задрожала, окрысилась, кровью налилась:

– Ты?! Да ты сама! Уж не тебе клеветать на меня! Ты меж нами палки совала! Ты его к себе сманивала.

– Ах ты, мерзавка! Это я, вишь ли, виноватая? Нагляга ты этакая!

– Не смей меня обзывать!.. Сама ты стерва!

– Это я-то стерва?

Тут развернулась бабья ругань без всякого удержу и резону. Дарья сгоряча схватила Ольгу за косу. Визг! Крики! И они сцепились, как две кошки. Заверещали в нелепой драке.

– Свихнулись! Наготово свихнулись, лешахи! – кричали разнимавшие, подоспевшие к стычке бабы.

– Да оттащи ты её!

– Стыда нисколь нету!

– Остепенитесь вы, бестии!

Ольга наконец унялась, зажала ладонью царапины на щеке и бросилась бегом – с глаз долой. Дарья выкрикнула ей вослед: «Сама стерва!» – и, отмахиваясь от улюлюкающих, стыдивших её баб: «Отвяжитесь вы!» – стала обдирать с подола приставший репей.

Когда бабы порасходились, Дарья горько вздохнула и пошатывающейся походкой, поглаживая укушенное Ольгой плечо, побрела на край села, к своему скучному безмужиковому дому.

Она устало вошла в избу, остановилась у порога, загляделась на дочку. Катька, неизменно верная своей кукле, сейчас просветлённо улыбалась: видать, разбудила свою деревянную подругу, мягко гладила её голову с мочальными волосами и радостно гулила.

В избе душно, накалено солнцем, – на большом лбу Катьки поблёскивает испарина. Кусок сахара лежал возле кровати: должно быть, Катька обронила, увлечшись куклой.

– Дай-ка, милая, я тебя оботру да на улочку вынесу. На воздухе посидишь. Тельце охлынет... И куколку твою возьмём. Возьмём, милая. – Дарья подошла к дочке, промокнула льняным полотенцем пот на её лице, повязала на её голову белую косынку.

Катька смотрела ангельскими глазами то на мать, то на куклу и чего-то мычала, пробовала разделить радость.

Вместе с одеялом Дарья подхватила дочку на руки.

– Экая лёгонькая ты! Сама-то как кукла... – с горечью шепнула она и понесла дочку за ограду.

Она усадила Катьку в тень под бузиновый куст, возле плетня. Поблизости ходили куры, клохтали, рыли лапами в песке. Катька смотрела на кур с удивлением и указывала на них рукой, издавала бессловесные звуки и объяснялась на языке, понятном только своей кукле...

Косынка на голове Катьки сбилась. Дарья стала на колени, перевязала на дочке косынку, сделала потуже, да и сама утомлённо приткнулась на краешек расстеленного одеяла. Задума-

лась. Затосковала по бабьему счастью. Ведь красивше других баб – не ряба, не крива, и руки к работе приучены, а личная жизнь нескладна. И мужа нету, и славный парень-полюбовник в неволе, ждет приговорного решения суда за «резанного» Савельева. И дочка-кровинушка – дитё неразумное, от дурня зачатое! К кому теперь прислониться? Где, с кем найти утеху, чтоб и молодое тело некисло и душе тошно не было?

В задумчивости Дарья не сразу заметила Максима-гармониста, который бежал от околицы. Сперва услышала его пыхтенье. Против Дарьи он приосадила себя.

– Чего как оглашенный несёшься? Ребёнка-то у меня напугаешь!

– Война, Дарья! Война началась!

– Какая война? – опешила Дарья. – Пошто люди не знают? Только что с бабами виделась – никто ни слова.

– Война... Ты вот первая, кому говорю. Я – с пристани. Попутных подвод до села не было. Я прямиком, через лес... Война!

Максим побежал дальше, от дома к дому разносить известие. То и было для села Раменского оглушительное событие...

– С кем война-то? – крикнула вдогонку Дарья.

– С германцами! – откликнулся на ходу Максим.

Дарья росла полусиротой. Отца она ни разу не видела, он погиб в Первую мировую на германском фронте. Может, ей только казалось, что она это помнит, а на самом деле не помнила (не могла помнить, будучи двухгодовалым ребёнком), а всего лишь ярко представляла, как рыдала и рвала на себе волосы обобранная войной её мать... Испуганно она взглянула на дочку. Катька сидела недвижимо и настороженно, будто тоже что-то уразумела из услышанных слов, и прижимала к себе куклу, защищая от невидимой беды.

Дарья машинально потрогала плечо, укушенное в недавней ссоре Ольгой, вспомнила о Фёдоре, мимолетно подумала: «Тюрьма-то, поди, добром ему может стать. От войны уберёт. Там стреляют...» Но во всём этом добра не было. Ни на ломаный грош, ни на кроху.

– Пойдем-ка, милая, обратно. Пойдём в дом. – И вроде спасая от близкого несчастья, она опять сгребла на одеяле Катьку с её куклой и понесла в избу.

VIII

Судья Григорьев ослабил галстук на толстой красной шее – жарко – и открыл папку с бумагами. В нынешнем уголовном деле всё было прозрачно и ясно, как в чистом августовском небе, которое виднелось из высоких полукруглых окон судебного зала. Хулиганство из ревности, бытовая поножовщина при отягчающем обстоятельстве (по законам юриспруденции – не отягчающее, но по жизни такого факта не зачеркнёшь) – жертвой стал представитель райкома партии; правда, имеется и смягчающее условие: преступник с повинной явился в милицию, сдал нож. Лишь одна заковыристая улика выплыла в ходе немудрёного следствия: подсудимый распорол потерпевшему живот. Зачем? Прокурор, гнусоватый старичок с прилизанными волосами и ровным пробором посерединке, как у дореволюционных приказчиков в лавке, усматривал в этом садистские наклонности обвиняемого и монотонным голосом утверждал, что «удар нанесён с целью злостного убийства». Вертлявый, тощенький адвокат, пристёгнутый к суду, по большей части для блезиру, только крутил головой и никаких аргументов в защиту не выставлял. Сам же Фёдор Завьялов свои действия трактовал крайне невразумительно:

– Я первый раз с ножом-то... Думал, не попал. Дёрнул зачем-то...

Судья Григорьев посмотрел, как широко позевнул милиционер с винтовкой, приставленный к подсудимому в охрану, и кивнул головой:

– Садитесь, обвиняемый!

Фёдор Завьялов поскорее сел, сторбился. Наклонив остриженную голову, припрятался в небольшом загончике за широкими перилами и вычурными балясинами.

Роскошь здешнего присутственного места осталась от царского режима. У судьи Григорьева лежало на памяти, как столяр отколупывал стамеской резных двуглавых орлов в зале и менял их на раскрашенные колосистые кругляши с советским гербом. Но морёная стародовская мебель прочно затаила в себе печать монаршей эпохи; даже сохранились кресла для присяжных заседателей.

Судья Григорьев прошёлся безразличными глазами по малочисленным людям, сидящим в зале, понаблюдал, как быстро макает перо в чернильницу и строчит протокол секретарь суда – худая, безгрудая женщина в чёрном костюме, которые предпочитают старые девы, и перевёл взгляд в жаркое августовское окно.

На лёгком ветру покачивал узорчатую зелень клён, а дальше виднелся синий квасной ларёк. Светлокудрый мужик в красной косоворотке, с дорожным узелком в руке, пил из кружки квас и между делом болтал с продавщицей в белом чепце. Кажется, о чём-то скабрёзном: она лыбилась и махала на него толстой рукой. «Мужик-то, похоже, на войну собрался. С узелком. Вот так, на войну...» – подумал судья Григорьев и вернул себя в зал заседания, взглянул на Викентия Савельева.

– Что скажет потерпевший? Изложите суду все, что касается происшествия.

К невысокой фигурной стойке в центре зала, чуть приволакивая левую ногу и, по-видимому, оберегаясь резких движений, подошёл Викентий Савельев. Судья Григорьев уставился в папку с писаниной следовательских допросов, потому что смотреть глаза в глаза потерпевшему ему не доставало сил. Савельев для него – личность чересчур известная. Когда-то он учился в одном классе с дочерью Григорьева, а позднее работал в одном райкоме с его ныне осуждённым свояком.

Звёзд с неба Викентий Савельев не хватал, но за обыкновенностью школьных способностей рано открылось незаурядное качество и особость его натуры. Он обладал выигрышной чертой характера – умением себя вовремя проявить, выставить. Эта черта воплощалась даже в его облики – видном, породистом. Как будто с юности облекли его солидностью и властью. Надо публично, при директоре школы, осудить проступок одноклассника – все помалкивают,

мнутся, а он – шаг вперёд и связно, в угоду моменту, выскажет то, о чем другие, может, стеснительно и подумывали, но чего никогда бы вслух не произнесли. «Кто выступит в прениях по отчётному докладу первым?» – спросит комсомольский секретарь. «Я!» – негромко, но твёрдо скажет Савельев, и уж с того отчётного собрания сам уйдет выбранным секретарём. Шаг за шагом он снискал себе положение передового человека, оброс репутацией молодого вожака, – и пусть вожака не того, который по аналогии ведёт в природе косяк или стаю, а вожака чиновного, без которого ни один институт власти не обходится и который, как всякая власть, потребен и значим; простому человеку без высокопоставленного распорядителя нельзя, а каким образом этот распорядитель появляется – простому человеку мозговать некогда...

– У обвинения, у защиты, у подсудимого есть вопросы к потерпевшему? – произнёс дежурную фразу судья Григорьев.

Для формальной частности вопрос к потерпевшему нашёл лишь старичок-прокурор.

– Не доводилось ли вам, товарищ Савельев, и прежде сталкиваться с хулиганскими выходками подсудимого Завьялова?

– Нет, товарищ прокурор, не доводилось. Мало того, я не могу считать поведение подсудимого Завьялова в тот вечер хулиганским. Мне кажется, поведение его было продиктовано не склонностью к антиобщественным поступкам, а неумением управлять своими чувствами, поэтому...

Судья Григорьев смотрел на крупное лицо Викентия Савельева, на зачёсанные назад волосы, на приподнятые широкие брови, слушал его рассудочную речь, направленную в сторону прокурора – будто выступление где-то на партактиве, – и невольно вспоминал. Он вспоминал, как Викентий Савельев, то ли из подпольных умыслов, то ли по недомыслию и фанатической партийной прямолинейности написал пасквильную статью в газету, где низлагал товарища и свояка судьи Григорьева (родного жениного брата). Когда секира пятьдесят восьмой статьи нависла над свояком, Григорьев, чтобы самому не угодить в кутузку, насочинял донесение всё на того же несчастного свояка, открестившись от него напрочь. Он до тонкостей помнил то шаткое, вскоробленное несуразными арестами время, когда трусливо составлял «телегу» на безвинного родственника, когда во всех административных кабинетах вёл себя с нервной подозрительностью, когда по ночам, заслыша шаги под окном, дрожал, как осинный лист...

«В Гражданскую с легендарным комдивом белополяков бил! Пуль не боялся. В огне горел, в воде тонул. А тогда, в тридцать восьмом... – Судья Григорьев поморщился, чтоб отпихнуть воспоминания. У человека всегда найдётся то, о чём вспоминать ему жгуче-укорительно, да только память, как неизгладимую вмятину в мозгах, несёт этот позор. – Эх, да чего там. Разве один я такой?»

– Спасибо, товарищ Савельев. Переходим к слушанию свидетелей. Товарищ секретарь, пригласите в зал... – отточенным тоном сказал судья Григорьев. И пока молодая свидетельница в чёрном платке, будто в трауре, шла по проходу судебного зала, обтирал носовым платком вспотевший загривок.

Прокурор и защитник от вопросов к свидетельнице отказались, надеясь поскорее закруглить пустяковое уголовное дело, но судья Григорьев собрался воспользоваться свидетельницей, чтобы шекотнуть нервы Викентию Савельеву.

– Скажите, свидетельница: можно ли расценивать замечание потерпевшего Савельева, сделанное подсудимому Завьялову на вечерке, как провоцирующий вызов?

Ольга вслушивалась в замысловатый вопрос и старалась смотреть только на красное лицо судьи, на его приспущенный широкий узел галстука. Но скамья подсудимого находилась от неё коварно близко. Ольга не утерпела, взгляд её соскользнул – напрямую столкнулся с глазами остриженного, скуластого от худобы, посуровелого Фёдора. Сердце Ольги испуганно ёкнуло. Хотелось убежать из гнетущего зала.

– Вам понятен мой вопрос? – спросил судья Григорьев.

– Не знаю... – тихо и коротко отозвалась она. И тут – как будто в двойное наказание себе – взглянула на Дарью, и ещё сильнее оробела, замкнулась наглухо.

Дарья сидела на переднем ряду, поближе к Фёдору, – простоволосая, в светлой кофте, при случае кивала Фёдору головой, бодрила улыбкой и всё норовила подмигнуть, понравиться вертуну-адвокату: чтоб не сидел как чучело, а защищал.

– И всё же, свидетельница, насколько нам известно, вы комсомолка. Не находите ли своё тогдашнее поведение, мягко говоря, легкомысленным? – въедливо спрашивал судья Григорьев, надеясь уязвить ответами свидетельницы Викентия Савельева. – Почему же вы опять не отвечаете? Свидетельница?

– Я не знаю... Я ничего не знаю! – Ольга всхлипнула, по лицу потекли слёзы. – Я во всём виноватая! Меня судите! Отпустите вы его!

Секретарь суда разогнула спину, налила из графина стакан воды, бесстрастно протянула Ольге.

Допрос свидетелей продолжался. Вторым, малозначимым и последним шёл Максим-гармонист, вызванный в суд, в общем-то, для проформы.

Переминаясь с ноги на ногу, он трепал в руках кепку, бормовито и непоследовательно рассказывал про вечерку, про примерное поведение Фёдора, про то, что Савельев «на чужую девку мог бы и не зариться», и вдруг оборвал свою речь, повернулся к Фёдору и крикнул неожиданно громко:

– Ухожу я на фронт, Федька! Прощай! Всё! Повестку уж выдали! – горьковатая радость сквозила в его словах. – Паня уже ушёл. Комсорга Кольку Дронова тоже забрали. Все уходим. Прощай, Федька! Привет тебе велено передавать.

Судья Григорьев дотянулся до колокольчика, медным звоном пресёк свидетеля, приказал тому сесть. Потом судья Григорьев посмотрел в окно, чтобы найти взглядом мужика в красной косоворотке с дорожным узелком. Но его у квасного ларька уже не было, словно и вообще не было. Да и ларёк с полнотелой продавщицей в белом чепце был почему-то закрыт. «Ушёл... А продавщица, похоже, проводить его собралась. На войну ушёл...»

Почти два месяца страну топтал оккупантским сапогом немец. Уже был повергнут Минск, сдан страдалец Смоленск, корчился и сжимался в осаде Киев. И хотя Вятская земля была далеко от рубежей фронтов, однако и тут всё уже подчинялось потребности войны. Беженцы из полонённых земель скитались по области, сидели на станциях на кулях. Кишели призывным народом военные комиссариаты. Уползали на запад в погибельную сумятицу воинские эшелоны. А оттуда почтовым потоком текли похоронные извещения.

«Все уходят. Вот так, – подытожил судья Григорьев. Взглянул на Викентия Савельева и стиснул от возмущения зубы: – А этот пакостник не уйдет! Бронь выхлопочет. По тылам отсидится. Он храбрёк там, где безопасно! Такие всегда за чужой спиной прикрытие найдут!»

Однако сколь возмущён и жесток, столь же ошибочен окажется судья Григорьев в своих презренных мыслях о будущем Савельева! Лишь потуже затянется послеоперационный шов и слезут коросты – Викентий Савельев с партийным призывом уйдёт в действующие войска. В отступательных боях под Харьковом политрук Савельев с остатками разбитого зенитного батальона попадёт в западню, расстреляет все патроны и безоружный, контуженный будет взят в плен. По приказу немецкого офицера местный полицай Ковальчук, в бытность зажиточный хуторянин, раскулаченный при Советах, но чудом спасшийся от ссыльной Сибири, выкрикнет перед строем военнопленных: «Хто из вас есть тута партейцы? Выходи! Всё равно выведем!» И Викентий Савельев, больной, раненый, вдруг резко поднимет голову и сделает роковой шаг, не отрекаясь от партийной принадлежности и своей планиды. У войны своё сито...

Когда из-под ног измученного пленника полицай вышибет чурбан и тело с табличкой на груди «коммунист» грузно осядет в петле виселицы, через разорванную гимнастёрку на животе казнённого будет различим крупный шрам от удара ножом...

– Обвиняемый! Вам предоставляется последнее слово перед вынесением приговора, – отчеканил судья Григорьев.

IX

Фёдор встал со скамьи подсудимых, положил руки на перила, потом виновато убрал их за спину. Посмотрел в зал. Мать с прижавшейся к ней Танькой – обе пугливо наострѣнные от значительности минуты; Дарья, ближе всех, и ещё подалась вперѣд: кажется, сама готова держать покаянную речь; Максим, возбуждѣнный, взлохмаченный – будто рад от скорого ухода на службу; Савельев, сидевший вполоборота, – он и есть всему причина, но нет к нему претензии: выжил – и за это можно в ножки поклониться, не по убийственному делу срок тянуть. Ещё Фёдор успел взглянуть на Ольгу. Одета во всё тѣмное, со спрятанной под платком косой, в ней было сейчас что-то покорное, как в смиренной монашке, – и даже жалкое.

Фёдор отвернулся от зала. Заговорил:

– Я, граждане, хотел сказать вам, что получилось так... – Он и сам не узнал свой голос – ломкий и какой-то пришибленный. И умолк.

Ещё в следственной тюрьме Фёдор приготавливался, чтобы на судбище прилюдно повиниться. За ножевой удар он затерзал себя угрызениями, тыщу раз проклинал, ворочаясь с боку на бок в душные бессонные ночи на нарах. Оборотись жизнь вспять – он от ножа бы отшатнулся, как от гадючины. Но теперь поди, попробуй, расскажи всё это судейству.

«Эй-эй, хлопчик, ты гордыню там брось! За гордыню да за упрямство человек более всего страданье терпит... У тебя первая ходка. Каюсь, мол, граждане примерные. Осознавши все, прощенья молю, – натаскивал его сокамерник по предвариловке, пожилой горбатый зек по кличке Фып. – На любовь надави. Как, мол, так, граждане хорошие, невесту уводят! Женихово сердце слепое да жгучее. Сорвался под влияньем несказанной любви... Слезу пусти, несчастной овечкой прикинься. Разжалобишь – скостят год-другой. Тюремный-то год голодный да тягучий». – Тѣртый зек Фып таковые тонкости знал доподлинно, изведal на своей испытанной шкуре.

...Пауза затягивалась. Прокурор зашамкал губами, заѣрзал. Адвокат скосил на Фёдора голову и что-то шепнул в подсказку. Нетерпение изъяслял даже милиционер-охранник – перехватил пониже цевьѣ винтовки; и чернила на ручке у секретаря суда, безликой старой девы, уже успели высохнуть. Судья Григорьев выпрямился на тронном кресле:

– Вам нечего сказать, подсудимый?

«Ну! Ну! Говори же! – злился и умолял себя Фёдор. – Говори! Ведь всё ж приготовлено». Как стишок перед школьным уроком, повторил он поутру припасенные слова: «Я, граждане, сильно виноват перед гражданином Савельевым и перед всеми...»

– Ничего я не хотел сказать! – наконец громко и грубо выкрикнул Фёдор и сел на скамью. Давайте! Валяйте на всю катушку, бесова душа! Не шут он гороховый, не проходимец, а все уготованные речи – выдумки! И если обнажит он всем своё подхалимство, то харкнет себе в душу! Нет у него покаяния перед этим судом. Сам он себе суд! Перед собой и покается!

Всеобщее ожидание зала кончилось. Все зашевелились, переглянулись. Фёдор услышал плач матери, лепет Таньки. Подумал с отчаянной горечью: «Лучше б они сюда не приходили. Батя-то вон и не пришѣл...»

Прокурор запрашивал для Фёдора Завьялова шесть тюремных лет. Судья Григорьев обыкновенно в подобных процессах отнимал «год на милость» и выносил приговор. Но в этот раз урезал прокурорское требование на целых два...

Когда приговорный лист был дочитан, Фёдора увели в отдельную комнату, изолировали от выкриков зала, от матери и сестрѣнки, от Дарьи и Максима, которые напирали на охрану и хотели для прощания подступиться к нему. В последний, разлучительный момент Фёдор успел заметить Ольгу. Окаменелой монашкой она стояла среди пустых стульев и как будто не понимала происходящего. И не было ясно, что там в бездне её устремлѣнного на него взгляда...

– Не положено! Порядок такой. Помещение очищайте! – горланил милиционер охраны.

Елизавета Андреевна все же не подчинялась горлопану-охраннику и сквозь преграду порядка добилась короткой свиданки с Фёдором.

– На минутку токо. На чуть-чуть... – Милиционер охраны, задобрённый банкой мёду, пропустил в комнату к осужденному мать с дочкой.

Елизавета Андреевна протянула вперёд руки и кинулась к Фёдору:

– Миленький ты наш! Пошто же так Господь-то над тобой, Фединька, распорядился? Лучшие годы за решеткою быть... Ты уж не связывайся в тюрьме-то ни с кем. Старайся, слушайся. Амнистию, может, дадут. – Она тыкалась ему в грудь, растрёпанная, постарелая, с застрявшими в морщинах слезами. – Ох и времечко прикатило! Всех парней да мужиков по селу на войну созывают. А сколь эта война пробудет – никто не ведает. Бабка Авдотья нагадала: больше году продлится... Отца-то скоро тоже на войну возьмут. Ты не сердись на него, Фединька. Тяжело ему сюда.

– Правильно и сделал, что не пришёл, – без обиды произнёс Фёдор.

Он держался с излишней стойкостью. Хотя ведь мать – не чужой дядька-судья, не «выхухоль» Савельев, перед ней-то бы повиниться надо, помилованья просить. Но он боялся разнежиться, боялся открытости взгляда, боялся своих подступающих слёз. Шурился на мать. Подмечал, как изменилась она. Осунулась, поблёкла. Вроде в волосах и седин не видать, а будто седеа. Где тот улыбочивый свет в лице, когда сидела она за шитвом со счастливым бременем будущего сына? Исчез, невозвратен! Фёдор знал, что в ту окаянную ночь она принесла мёртвого мальчика.

– Исхудал ты больно, Фединька. Ты поешь. Вот гостинец в кошёлочке. Да какой гостинец? Чего уж я говорю-то! Прости ты меня, Фединька. За всё прости. Может, я-то и недоглядела больше всех... Напиши нам, где отбывать будешь. Я посылочку вышлю. С начальством не звяжь, угодить старайся.

– Ничего, мама, я вернусь. Ты не реви. Вернусь, – суховато говорил Фёдор.

Сбоку к нему жалась Танька. Она смотрела на него снизу вверх с животной преданностью, как верная собака, которая расстается с любимым хозяином и не верит, что с ним расстается. Она берегла в себе какие-то священные уветливые слова, чтоб сказать напоследок. Но так и не промолвила ни единого. Она только сдернула с себя нательный крестик на гасничке да тихонько сунула в руку Фёдора. Распятием крестик лёг на ладонь, а на тыльной стороне два выдавленных слова «Спаси и сохрани».

– Кончай нюни разводить! Наговорились, будя! – оборвал свидание охранник. – Хватит! Хватит, я сказал!

Фёдор отворотился к окошку, чтобы не видеть, как милиционер выталкивает мать и сестрёнку за высокие казённые двери, и наконец-то зажал рукою глаза. Придавил слёзные веки.

Х

Близится ночь. Меркнет свет в окнах в селе Раменском. Только долго бессонным отблеском держится он на стёклах в доме Завьяловых.

После суда весь вечер Танька не отходила от матери.словно малый зверёк-детёныш, который боится остаться один и повсюду вяжется за матерью, она всё время находилась подле Елизаветы Андреевны. Она чем-то изводила себя, маялась, с виною поглядывала на взыскательный лик Николая Угодника на иконе. В конце концов исповедалась Елизавете Андреевне:

– Это я Федьку подъяенивала. Про Ольгиного ухажёра ему тогда наговорила. Растравила его. Разъярила. Он и полез с ножом. Из-за меня он озлился, мамушка...

Перед сном, в поздней тишине, Танька богобоязненно и прилежно крестилась, замаливала подстрекательский грешок. Уснула она, сидя на лавке, приклонив голову на руки на стол, возле раскрытой книги – бабушкиного молитвослова – с обкапанными свечным воском страницами.

В горнице, подвешенная к матице, горела керосинка. Жёлтый треугольник пламени над фитилём, размытый сизым колпаком плафона, сумными бликами лежал на сусальном серебре иконных окладов, на изумрудно-тёмном толстом стекле буфета, плавился в зеркале, утопая в его зазеркальной глубине, и урезанный круглой тенью, полумесяцем застыл на поверхности воды в кадке. Растекаясь по избе, свет мягко золотился на волосах заснувшей Таньки, скромно белел на полях многочитанной духовной книги.

Елизавета Андреевна, настрадавшись за день, обзабылась во сне, но дышала со сбоем, вздрагивала, сучила ногами. Егор Николаевич не спал. Он вовсе ещё не смыкал глаз, хотя уже давно лежал на кровати.

Когда молитвенный шёпот Таньки смолк и голова её утомлённо склонилась на стол, он потихоньку поднялся, подошёл к дочери. Он стоял возле и долго вглядывался в неё, будто хотел получше запомнить: её сложенные под голову ручонки, волосы, скатившиеся с плеча, едва заметную синеватую жилку на шее. Бережно, чтобы не преломить сна, он поднял её на руки и, дыша в сторону, отнес её за занавеску на постель. Уложил ласково-плавно, сдерживая скрипучие голоса матрасных пружин. Осторожно покрыл одеялом. Ему хотелось поцеловать дочь, но он побоялся, что уколет её усами и порушит её сон. Он только беззвучно промолвил: «Расти, Танюша... Не забывай меня...»

Потом он вернулся на середину избы. Огляделся пристально, как бы не находя здесь чего-то обязательного и неразрывного. И опять, уже не впервой, догадался, чего тут недостаёт. Там, по другую сторону печи, за занавеской, где постель Фёдора, – пусто, заброшено и, казалось, пыльно, как в чулане. До сегодняшнего суда уже было пусто, а теперь – и подавно: будто сам дом обездолили, отняли живительную часть, оставив взамен пустынный неуют и скорбное напоминание.

Егор Николаевич зачерпнул ковшом из кадки, от чего свет на поверхности воды заколебался, спутался в мелкой ряби. Он попил воды, повесил ковш на место. Ему казалось, что нужно ещё что-то посмотреть, обойти, проверить. Но он не знал, что именно. Он погасил керосинку и остался в неподвижности, чтобы глаза попривыкли к ночи.

Лунный свет, рассечённый переплётками рам и не заметный прежде при огне лампы, полился в окна, – такой же ровный и безмятежный, как сама тишина. Тишина, приняв лунный окрас, даже стала глубже, задумчивее. С носика рукомойника в подставленный внизу таз сорвалась звонкая ночная капля. Звук её был очень знаком и тревожен.

Егор Николаевич надел сапоги и, придерживая плечом дверь, чтобы не визгнула петлями, вышел из избы.

На дворе бледно серебрилась трава. По центру её затмевало остроугольное теневое пятно колодезного навеса, по закрайку лежала ершистая тень плетня. Слабо белела телега с пучками соломы.

Полная луна висела высоко над лесом. Вокруг неё зыбко проступало прозрачное голубоватое кольцо радуги – лунной радуги. С приближением к осени ночи настали тёмные, пронзительные, звёзды горели над землёй густо и чётко. В застывших накатах небесного пространства звёзды роились слоями: ближе к земле – крупными яркими сапфирами, а выше и дальше – россыпями мелкого бисера, а ещё выше – мерцающими пылинками, терявшимися в безмерной глубине, которую человеку никогда не достичь, не познать и не обмыслить.

Для чего живёт человек? Нашто ему жизнь дадена? Егор Николаевич остановился посреди двора, застигнутый этой неразрешимой печальной загадкой. Впервые пришла она ему на ум. Впервые тронула за живое, занозила сердце. Но он вскоре понял, откуда в нём это тоскливое раздумчивое дуновение. Над ним, над его домом, над всем, что было вокруг в этом подлунном мире, повисла война. День-два – и ему собирать походный ситор и отправляться туда, на запад, откуда исходил не слышимый ухом, не видимый глазом ток нешуточно разметнувшегося побоища.

Он стоял возле своего дома, как заблудившийся, потерянный и себе не принадлежащий, уже ввергнутый в сумятицу необъяснимой человеческой истории, – стоял под чистым тоном лунного излучения, под скопищем в застылых небесных волнах крупных и мелких звёзд.

...В сенях слышится шорох, осторожная поступь. На крыльцо в белой ночной рубаше выходит Елизавета Андреевна. Она видит, что посреди двора, на лунном свету, в исподней белой рубаше, от мелового свечения которой веет чем-то упокойническим, стоит её муж. Длинная тень его тянется к её босым ногам.

– Ты чего, Егор? Пошто не спишь? – тихо спрашивает она; подходит и легонько притрагивается к его руке. Она боится тех белых одежд, что на нём и на ней, а ещё – его неподвижности и зачарованной глухонемоты.

– Надо было с Фёдором-то повидаться. Зря на суд не поехал. Негоже расстались, – немного спустя отвечает он, стыдясь и увёртываясь от испытующей темноты глаз Елизаветы Андреевны.

XI

Команду заключённых под крики охранников, под лай сторожевых собак суматошно и торопко выгружали из битком набитых, до одури душных, изгвазданных вагонов с обрешёченными окнами. Как снопами, утыкивали заарестованными людьми ближний к железнодорожному полотну пустырь. «Садись! Садись, тебе сказано!» Кого-то из зазевавшихся конвоиры подсечкой и тычками сваливали с ног, пихали, усаживали кучно – так легче надзирать. Для острастки потряхивали винтовками, взятыми наперевес, усыкали для пущей угрозы своих псов. Но зеки радовались перемене места обитания. Казалось, не только они, чумазым табором, в кольцо дозора, вобрали полной грудью чистого воздуха, но и обмызганные вагоны, исторгнув на конечном пункте этот муравейник, облегчённо вздохнули и дались очистительному сквозняку.

После построения, переключки, дополнительного пересчёта колонну с пятиголовыми шеренгами погнали в пересылочную тюрьму. Здесь зловонную скученность дорожных купе-отсеков сменила чадная теснота камер с засаленными, исцарапанными стенами, с голыми нарами и тягостной морокой перевалочного бытоустройства.

Часто Фёдор вспоминал теперь старичка Фыпа, своего опекуна в «предварилровке». Многоопытный горбун Фып не по мягкосердечию сделался ему воспитателем в тюремной науке. Спервоначалу он выведал:

– Отколь ты, хлопчик, родом-то? Из Раменского? Не знавал ли ты тогда дядьку Андрея из тех же местов? Он уж старик теперь. Хромоногий. Где-то на отшибе, в лесной избе квартирует.

– Так это ж мой дед! Родной дедушка!

– Эй-эй! – обрадованно воскликнул Фып. – Мы с ним, было времечко, корешились. Пошаливали маленько, с комиссарами вздорили... Дедушка твой по себе крепкую славу оставил. Со своей правдою жил. Бывало, говаривал: «Деньги что? С ними сыт да пьян, а душе – справедливость подайте...»

Оттого Фып и взялся просвещать дружинного внука. Выучивал, как вести себя со следователем на допросах, оберегал от притязаний сокамерников-блатных, угождал мелкой заботой.

Наблюдая за Фыпом, за его горбатой, обезьяньей фигурой с длинными руками, за его морщинистыми ужимками, Фёдор примечал во всём его поведении тюремный авторитет. Уважительное отношение к нему распространялось повально. Иной раз и Фёдора в обществе Фыпа охватывал гаденький мечтательный расчёт – показной жестокостью добиваться здешнего признания, и как-то обёрнуто, вверх тормашками, радовало, что родной дедушка славился в бандитах. Каждого человека стережёт искусительный миг, когда подмывает желание бесчестно хватануть себе то власти, то денег, то особенной справедливости. Так и у Фёдора – бывало, забродит по жилам дьявольское желание тоже ступить на дедову стезю и выбрать лихую долю. Дед Андрей посмел, а он хуже, что ли?

Но здесь, в пересылочной инстанции, подмоги и влияния Фыпа не было, а в намордниках на окнах, в железных засовах на дверях, в опояске из колючей проволоки над забором – никакого радужного намёка. Все зеки – словно уродцы в лохмотьях, и власть меж ними, казалось, делили те, кто подлее. Только там, за перекрестьями оконных решёток, в небе, было чисто – отратно и вольготно взгляду.

Через несколько дней из камер стали вызывать по разнарядке. Выгоняли во двор тюрьмы, формировали пеший этап на северную окраину Вятской земли, где местечко Кай, где таёжные зоны. Предугадывая долгий муторный ход, Фёдор сидел на тюремном дворе разувшись, босыми сопредельными ступнями – на прохладной выцветшей травке.

Над тюремным забором уже высоко висело утреннее солнце, розовели подставленные к нему кудрявые бока толстых облаков. Крупная чайка с белыми зигзагами крыльев – видимо, с

какого-то ближнего водополя – проплыла в завидной воле пространства. Опускать глаза вниз, взглядом и мыслями возвращаться к людям, которые гуртовались возле мрачного кирпичного дома с прутьями на окошках, не хотелось. Нынче, если выпадала возможность, Фёдор подолгу глядел в небо. Раньше он не испытывал этой притягательной, отвлекающей от земного мыканья силы голубой пустоты. Но только в этой пустоте сбереглась для него частичка свободы и только через эту пустоту лежала какая-то призрачная соединённость и с домом, и с детством, и с отдохновенными воспоминаниями. При виде облаков почему-то приходила на ум давнишняя сказка про Снегурку, которую рассказывала бабушка Анна. «...Всё ж доняли Снегурку подруженьки. Решилась она и перепрыгнула через костровище. Тут и не стало её. Растаяла. Паром сделалась. Обернулась облачком. И плавает это облачко и посейчас где-то...»

Фёдор не услышал и не заметил, как сзади к нему подошёл качающейся походкой, словно весь на расхлябанных шарнирах, длинный мосластый парень. Был он бос, в руке держал полуразвалившиеся, с драными подмётками чёботы. По всем ходульным манерам, по синей сыпи наколок на руках, по стальной фиксе во рту в нём угадывался недавно оперившийся блатарь. Кличку он носил короткую, но с длинным понятием – Ляма.

Взяв сапог Фёдора, Ляма примерил его подошва к подошве со своими чёботами и порадовался:

– Энти вот тебе. Налезут. У нас ноги равные. – Ляма поставил перед Фёдором чёботы и взял его сапоги. – Портянки оставь себе. Пригодятся.

– Не трогай! – Фёдор вскочил, потянулся к Ляме: – Мои сапоги! Не дам!

– Ты чиво, фраер? Энти теперь твои, – Ляма осклабился, намекая на свою особенную принадлежность в здешнем миру.

Соседи поблизости равнодушно наблюдали сцену законного обирания. Никому в голову не пришло встревать и рядить передел личного имущества.

– Отдай! – тихо произнёс Фёдор. И тут же взорвался, побелел от неистовства: – Отдай, скотина! Задушу!

В нём что-то заклокотало, как в пробуженном вулкане, и нарастающий бунт против всего окружавшего выплеснулся звериной злобой. Будто не пальцами, а когтями, он вырвал у Лямы сапоги, а потом с малого, но резкого разворота ударил ему кулаком в нос. И тут же – второй раз, уже в разбитую, сразу окровавившуюся рожу... Ляма зашатался, закатил глаза и рухнул на ближнего сидящего мужика. Фёдор и теперь не отступился, бросился на Ляму, вцепился рукой в горло. Он, возможно, придушил бы его в приступе бешенства, вдавил в землю в этом своем бунте, если бы болезненный мужик-сосед не завопил тощим голосом:

– Ой! Что ж это, граждане! Я больной человек. У меня астма. Меня-то за что?

Фёдор обуздал себя. Оттолкнул обидчика.

Ляма, очухавшись, сидел возле ноющего астматика, утирал рукавом расквашенный нос:

– Ну, фраер, ты мне заплатишь. Я тя распишу...

– Заткнись, погань! – сквозь зубы процедил Фёдор, схватил чёботы и – опять же в рожу! – бросил Ляме на его угрозыливый, сиплый от кровавых соплей голос.

Охрана стычку заключённых не заметила, а сторонним зекам на чужую склоку наплевать. Только астматик, которого зацепила драка, ещё долго сетовал и кисло морщил отечное лицо с водянистыми глазами.

Уже позднее, когда Ляма затерялся на тюремном дворе среди этаплируемых, Фёдор понял, что промашливо покусился на здешний уклад. «Эй-эй, хлопчик, на носу заруби, – зазвучала в ушах предостерегающая выучка Фыпа, – ты вору не товарищ! Тут свои сословья заведены. Вот дворянин до большевиков – высшее сословье. Так здесь и вор. Попробуй-ка в ранешное время голоштанник тронуть барина. Эй-эй! Засекут! Голодом сгноят! Голову сымут! В кандалы закуют. Правота всегда с тем, у кого деньги да положение! Ты тюремный порядок тоже

блюди. Перед бытовиками держи себя коршуном, уступки не делай. Но к законнику на рожон не попадайся. Он тут и есть барин – с ножом за пазухой...»

– Строиться! Живо строиться! – закричал начальник конвоя Воронин, выйдя из тюремной управы во двор. Натянул на голову фуражку, начальственно встопорщил усы.

Его приказ вдесятеро размножили конвоиры.

XII

Сухой жар поднимался от зыбучей песчаной дороги, раскалённой солнцем, – дороги тяжкой не только для пешего хода, но и конной повозки. Вихлявый строй заключённых в маете зноя и голода тащился по пустынным просёлочным вёрстам. Резвая птаха-трясогузка с длинным шатким хвостом, удивясь внушительной толпе упорядоченного шеренгами народа, снялась с придорожной кочки, в петлявом полёте прошемыгнула над озерцом и затерялась над ржаным полем.

– Стой! Привал! – объявил начальник конвоя Воронин и снял фуражку, выгоревшую до белизны на солнце таких переходов.

Без привалов туго пришлось бы и конвоирам: для них путь не короче, хотя время от времени, чередуясь, они ехали на сопровождающих подводах.

Этап расположили обочь дороги на низкотравной луговине, вблизи прозрачно-тёмного торфяного озерца. От воды утоляюще веяло прохладой: студёные ключи питали озерцо, взбудораживали серый донный песок, слегка колыхали водоросли. Заключённых усадили на землю, позволили, однако, попеременно умыться и напиться из озерца.

– Но чтоб никакой толкотни! Чтоб порядок! Ясна-а?! – выкрикивал заправила Воронин, окострыжив соломенного цвета усы и по привычке положив руку на кобуру на ремне.

Упрёвших в пути лошадей выпрягли из подвод, пустили на выгул. Конвоиры разложили для себя на одной из телег еду. Несмотря на солнцепёк, хватанули по стакану самогонки, смачно хрустели свежими огурцами, похохатывали, дымили сигарками.

Фёдор сжевал остатки пайки, выданной в начале пути на целый день, выпил пару кружек дозволенной озёрной воды, ополоснул лицо и лёг на траву.

В небе висело солнце. Казалось, оно уже давно висит в зените и ни одно облако, белая дымная плоть которых клубилась по краям неба, не смеет приблизиться к нему и усмирить тенью горячий свет. Но вольная высь сейчас Фёдора не влекла: сшибка с Лямой тревожным холодом выстуживала мечту о чём-то родном и далёком. Ещё в колонне долговязая фигура блатаря будто сама напрашивалась заметить её. Да и Ляма, вычислив в строю Фёдора, в зловещем завихе головы, обнажа в оскале фикса, глядел на него с мстительным ехидством. Урки обиду не прощают. Фёдор им не товарищ.

Тихий храп донесся из-под куста. Молодой конопатый охранник, видать, закосев от шибкого градуса сивухи, разомлело лежал на спине, с открытым сопящим ртом. Дулом зарылась в траву его отпущенная из рук винтовка. Фёдор приподнялся на локте и приметливо осмотрелся. Одним краем ржаное поле тянулось вдоль дороги, другим – полого спускалось в низину и к лесу. Причём невдалеке от зековского становища в поле клином вонзался густой подлесок; а уж дальше – вплоть до горизонтной мари – всё полонила хвойная необъятность тайги. По другую сторону дороги, за лугом со смётанными стогами, на взгорок тоже простирался плотный таёжный массив.

«Сторожевых-то собак в этапе нету», – будто кто-то на ушко подсказал Фёдору собственную зацепку.

Конопатый охранник соблазнительно спал. Конвойный начальник Воронин тоже распластался на придорожном склоне, надвинув на лоб фуражку. Другие конвоиры слонялись вдоль дороги, лениво переговаривались и даже заученно не покрикивали на арестантов. Распряжённые лошади, помахивая хвостами, погуливали на дальнем от Фёдора берегу озерца.

«Когда ещё такой случай представится», – шепнул всё тот же подначивающий голос.

Спасительный расклад деда Андрея до сих пор тлел в сознании Фёдора, а нынче вспыхнул пленительным огоньком.

Фёдор ещё раз дотошно и остро всё подметил. Всё просчитал. Мимо спящего – опростежку к полю! Пока конвоиры спохватятся, передёрнут затворы, начнут палить впопыхах, можно добраться и сунуться в рожь. Перебежками, скачками, чтоб конвойные целиться не смогли, уходить по полю к подлеску. Они, конечно, кинутся в погоню, но седел на лошадях нет, а пешие – не достанут. Силёнка в ногах пока есть: «Уйду!» Лишь бы до лесу дорваться – дальше не словят. Лес – это спасенье. Там и с голоду не помрёшь. Грибы, ягоды... Сперва отсидеться. Потом – к станции. Пробираться только по ночам. На «железку» выйти. К товарняку прилепиться. И тогда – на Урал. В Кунгур. К дедовому дружку.

Стремительно летели мысли. Каждая клеточка в теле Фёдора зазвенела от сладкого предчувствия свободы. Время сейчас лихое. Всюду неразбериха. Сколько людей потерялось, дома побросало. С чужими документами можно и на фронт податься. Зачтется потом. Чем с голодухи в тюрьме пухнуть или от ножа урки загнуться – уж лучше фронт. Туда. На войну. В солдаты. К своим... Он даже мимолетно успел подумать о друзьях – плюсуне Пане и Максиме-гармонисте, о комсомольском вожаке Кольке Дронове. Отчаянная радость была в этом!

Фёдор осторожно пробрался ближе к спящему охраннику, на самый край бивака. Потом тихонько отполз ещё поодаль от заключённых. Конопатый конвоир так же привольно посапывал, не сменив позу. Винтовка что палка – спящему не оружие. Главное – не сорваться раньше. Выждать. Поймать момент. Пускай дозорный на дороге отойдёт подальше. Фёдор встал сперва на колени, пригнулся, подтянул к груди правую ногу, чтоб резче толкнуться. Воровски озираясь, ещё сосредоточенно повыждал. Ещё перетерпел несколько упругих толчков своего сердца. Нестерпимый зов тянул его к жёлтому колосистому полю. Вот он – близок решающий миг! Тогда уж Фёдор весь превратится в порыв, в бег, в заячью прыть...

Пора! Можно! Он только успел подумать об этом, но ещё не качнулся на напряжённых ногах. Тут и прогремел выстрел. Не чужой, не случайный, а прицельный в него, в Фёдора, выстрел!

Пуля просвистела совсем близко, над темечком. Фёдор припал к земле, съёжился. Конопатый охранник вскочил как ошпаренный, схватил винтовку, мутными зенками заводил по сторонам. Весь конвой всполохнулся. Зеки оцепенели.

– Застрелю-у! Застрелю, как собаку! Ишь чего, гадёныш, задумал! От Воронина хотел убежать! Меня хотел провести. Я тебе покажу, сукин сын!

За долгую надзирательскую службу Воронин натерел в должности: не по книжкам освоил психологию арестантов, повидал разной масти беглецов: и среди матёрого блатного люда, и среди желторотых сосунков. Сам, бывало, разряжал обойму в беглецкую спину. Он и засёк подозрительную отъединённость Фёдора. Лежа на придорожном склоне, следил за ним из-под козырька надвинутой на брови фуражки. Не дремал, зырил наметанным глазом. «Этот сбежать норовит. Дергается, башкой вертит. Точно норовит. Но у меня не уйдёт. От Воронина никто не уйдёт!» Он опустил руку на кобуру, потихонечку вытащил наган, взвёл курок.

С дикой бранью, распинывая тех, кто сидел на пути, размахивая револьвером, Воронин шёл к Фёдору. Сверлящие маленькие глаза и оскалившийся рот под колючкой усов надвигались на Фёдора. Чёрный коротенький ствол с лоснёной мушкой нацелился ему в переносье.

– Ты меня хотел провести, собака! Меня? Воронина? Да я ж тебя... Воронин вам покажет, сукины дети! Чтоб всем наука пошла! Застрелю-у!

Не пошевелись Фёдор ещё мгновение, останься полулёжа на земле – и, верно бы, схлопотал от Воронина показательный расстрел. Но цепкая сила живучести успела опередить разгорячённую в ругани начконвойную пулю. Фёдор вихрем вскочил с земли, рукой заслонил ствол нагана и закричал в свирепое лицо главного конвоира:

– Не хотел сбежать! Не хотел! Правду говорю, гражданин начальник! За ягодой потянулся! За костяником!.. Вот те крест – не хотел! – Фёдор вдруг осенил себя крестным знаме-

нием – быстро, твёрдо, да притом не шепотью, а по-старообрядчески двуперстно. – Вот и крест при мне! – И он выхватил из кармана Танькин напутный крестик.

От молельного жеста Воронин как-то враз стушевался, рука с наганом отяжелело поползла вниз. По должностной обязанности пропустил он мимо себя немало осужденных староверов (раскулаченных и отказников служить в Красной Армии) и прочно усвоил, что староверы крестным знаменем не бросаются, в исповедании своём кременисто стойки, врат под крестом не могут. Он кинул взгляд чуть дальше, за плечо Фёдора, – и впрямь кое-где, по одной-две крошки на стебельке, краснела костяника. Воронин чертыхнулся, брезгливо шибанул наганом по протянутой руке Фёдора, где лежал крестик на гасничке, и заорал на конопатого конвойного:

– Ты почему спишь, бездельник? Почему оружие бросил? Кто службу служить будет? Дал вам поблажку, а вы как... – он выматерился, заорал шире: – Подъё-ё-ём! Разлеглись, собаки!

Конвой засуматошился, злость начальника приумножил, отыгрался бранью да пинками на заключённых.

Уходя со стоянки, Фёдор с тоской оглядывался назад: на тёмный провал озера, на золотую рябь колосившейся ржи, на вихрастый клин подлеска. Он и сам не знал: жалеть ему сорвавшегося бегства или тешиться благодетельным случаем, сохранившим ему жизнь. Могли бы подстрелить, как зайчонка, или поймать и в проучку пустить в расход. Но определённо было жаль утраченный Танькин крестик. Его вышиб из руки Воронин, и Фёдор не успел его разыскать в траве. А первая пуля, выпущенная в него из конвойного нагана, навсегда застряла в памяти шаловливым свистом «фьють!».

– Не растягиваться! Подтянись! Ровней держаться! Кто на шаг отклонится – застрелю! – наводил дисциплину ретивый служака Воронин.

XIII

Вечером, когда тяжелые лиловые облака прищемили опухлое пунцовое солнце, когда белесой туманной устилкой покрылись низовья луговин и пастбищ, а лес пришипился в безветренных сумерках, заключённые добрались по пыльной дороге до небольшого села. Людей из сельских домов почти не показалось: такие этапы здесь не в редкость. Да и кому любопытство до арестантов, ежели начавшаяся военная година выхолащивала народ добропорядочный, к преступному миру не причастный! Лишь подворотные собаки проявили интерес – разноголосо облаяли колонну, которая серо проползла по краю села, да несколько огольцов в неловком молчании созерцали угрюмые лица зеков и покачивающиеся винтовки за плечами конвоя.

На ночёвку заключённых загнали в пустую конюшню, огороженную колючей проволокой. Дощатый барак, где останавливались по обычности этапы, чернел недалеко корявой кучей останков пожарища: по чьей-то милости его подпалили; а одну из сельских конюшен опростала война – лошадей угнали по нуждам фронта – так что порожним стойлам определили человеческое применение.

Заклучённые размещались спать в денниках. Всё в конюшенном помещении пропахло не только лошадиным духом, навозом, прелью гнилых досок, но и едучим запахом человеческой мочи и испражнений от наследия прошлых этапов. В полупотёмках, натываясь друг на друга, заключённые искали приют своему измождённому телу. Расселялись густо, почти впритык. Тихо радовались всякому незагаженному месту, чистому клочку соломы.

Блатные по заведённым правам расположились раздольнее всех: расстелили одеяла и шмотьё, поотобранное в этапе, разжились свечкой для комфорта. Ещё на пересылке они друг друга опознали по невидимым метам, сплотились, чувствовали себя уверенно-нагло, в меру вольно, и с некоторыми конвоирами общались запанибрата.

Ночью урки и вовсе устроили гулянку. У воров не переводились деньги, а деньги и тут вершили своё дело. Как муха льнёт к дерьму, так и мздоимцы из конвоя шли на поводу корыстного запашка: приносили ворами самогонку и сало. Для полноты увеселения сыскались и проститутки. В этапе гнали десятка два осуждённых баб, некоторые из них, может, и не промышленные продажной услугой, покуда не познали тюремный мор.

Фёдор нечаянно подслушал разговор двух баб. В потёмках за перегородкой они шептались:

– К ворами пойду. Жрать охота.

– Сдурела? Снасильничают ведь!

– Надо мной и насильничать не надо. Мне... – тут она гадко выругалась, – не жалко. Хоть накормят. Стыдом сыт не будешь.

Обчистив себе местечко, поогрызавшись из-за тесноты с соседями, Фёдор пристроился в углу денника. Хоть и намаялся в долгом пути, сон к нему сразу не шёл. Фёдор знал, что ночью придётся платить за разбитую рожу Лямы. С горящей лучиной в руке Ляма уже проведаль его и зубоскально предупредил:

– Поживи ещё нимного, фраер. Для тибя пёрышко уже наточено...

Фёдор догадывался, что Ляма рисуется и «берёт на понт». На «мокрое» он вряд ли отважится: судя по всему, ещё слабак в воровской стае, но поиздеваться над «бытовиком» при дружках – тут ему прямая выгода для усиления блатного весу. Зудливо дребезжал внутри страх, не давал покою. И никуда не вырвешься из конюшни, и нечем защитить себя. Фёдор невольно вслушивался в пьяную копошню урок: чавканье, кряканье, развратный смех прости-туток, блатной жаргон, на котором изъяснялись. Эту «феню» он уже немного освоил, но в разговорах никогда не использовал, будто этот язык для него краденый.

– На той зоне у меня лепила на крючке был.

- Вертухаи там борзые, а опер всю придурню стукачами сделал.
- ...Из Бура к шалашовкам не ломанёшься.
- Э-э, кореш. Не лапай! Это моя шмара. Опосля меня...

В тишине уплотнившихся потёмков, меркло развешенных лунным сиянием из плоских конюшенных окон, голоса блатных звучали просечённо-ясно, хрипловатый смех разносился далеко, табачный дым чуялся резко. Позднее угадывалась возня грязной человеческой случки: горячее мужичье пыхтение и бабий сдавленный стон.

Фёдора, однако, сломила усталость. Он забылся в поверхностном сне. Уснул всё с тем же липучим предрешиением расплаты и несбыточным желанием иметь под рукою топор. Он даже во сне станет нащупывать рукой топорнице...

- Очнулся Фёдор от сердитого бормотания соседа и знакомого злоехидного голоса:
- Энтот!

Он вздрогнул, широко раскрыл глаза, стал что-то нашаривать вокруг себя. Зажжённая спичка колебалась над ним острым пламенем. Но быстро погасла. И в тот же момент тонкий жгут вонзился ему между губ, сделал немым, придавил голову к земле. Руки его кто-то схватил, взял на излом – его напрочь обезоружили. В темноте смутно проступали пятна чьих-то лиц, и одно из них с тусклым отблеском фиксы – ближе всех. Фёдор рванулся всем телом, но без толку: держали его крепко, и от своих же движений себе же боль. Что-то серебристое мелькнуло перед глазами, и он почувствовал холод лезвия ножа, плашмя приложенного к горлу.

– Ты чиво в мои сапоги залез, фраер? Я же тебя сейчас... – сивушным перегаром и луковой горечью дышал ему в лицо Ляма. – Я же тебе дыхалку отключу.

Но холод финки исчез от горла, а вскоре Фёдор испытал умопомрачительную боль. Ляма наступил ему ногой в тяжёлом чёботе на живот, а затем вдавил ногу ещё глубже, навалился всем весом. Фёдор захлебнулся воздухом, боль распирала всё тело. Но ни выдохнуть, ни освободиться. Потом подошва в конском навозе, человечесьм дерьме, влажная от мочи, припечаталась к его лицу, а потом снова тяжесть тела Лямы перевалилась на живот. Из последних сил Фёдор дёрнулся вперёд, но от рывка лишь больше рассёк о жгут губы, а от очередного изуверского нажима в живот потерял сознание.

С рассветом, когда раздёрнули настежь ворота конюшни, вплеснув в спёртую мглу немного солнца, когда начальник конвоя Воронин зычно гаркнул: «Подъё-ё-ём! Выходи строиться!» – Фёдор смог только приподнять веки, но не смог пошевелить ни рукой, ни ногой. Боль от побоев растеклась по телу неподъёмной тяжестью, будто всё атрофированное.

– Эй ты, подъем! Чего лежишь? Команду не слышал? – крикнул в его угол конопатый знакомец из охраны.

Фёдор не двигался и отстранённо смотрел вверх, где клубилась пыль в мутных лучах света.

– Чего там? Сдох, что ли? – из проёма конюшенных ворот окликнул подчинённого Воронин.

- Не знаю. Сейчас поглядим. Лежит чего-то.

Воронин нетерпеливо сам подошёл разузнать, в чём заминка.

- Встать! Вста-а-ать! – рявкнул он. Однако впустую драл глотку.

Воронин и конопатый конвоир – оба склонились к Фёдору и оба с отвращением искривились. Холодные, чумные глаза, оплывшее от синяков, извоженное навозом и грязью лицо, разорванные в углах губы с запёкшейся сукровицей.

- Как напoказ измордовали, – сплюнул Воронин.

Двое заключённых, подхватив Фёдора под мышки, волоком перетасили его на подводу для больных, оставляя на мусорном полу конюшни две черты от его босых бороздящих пяток. Скоро к подводе подскочил Ляма:

– Я же тебе сразу сказал: энти коцы теперь твои. – Он сунул под бок Фёдору разбитые чёботы и весело притопнул, как в пляске, ладными сапогами.

До лагеря Фёдора везли на подводе. Когда телегу встряхивало на ухабах, он корчился от боли, словно опять его били под дых, безголосо стонал, зажмуривался, погружая себя и своё страдание в темень. Он даже не хотел хлеба, только ежеминутно мучился жаждой.

Рядом с ним на повозке лежал мужик-астматик, который с каждой попадавшейся колдобиной на дороге жалобно охал. Иногда он порывался рассказывать Фёдору о своей болезни, задыхаясь, что-то бубнил, но после забывал, с чего начал и на чём остановил свой рассказ. До нужного места астматика не довезли. Он угас на подводе в духоте яркого, солнечного дня, с открытыми глазами; и ещё некоторое время, пока конвой не спохватился облегчить подводу от покойника, по мёртвому стеклу его глаз ползли белыми мухами отражения облаков.

XIV

Через Вятку-реку, поперёк её серо-малахитового русла, по золотым ракушкам разлитого на воде солнца тащится от города к сельскому заречью угловатый паром. Прислонившись к перилам, в стороне от других спутников, стоят Ольга и Лида. Они поглядывают то на город, раскинутый на макушке глинистого крутояра: на чистенькие каменные, когда-то купеческие, дома вдоль высокой набережной, на достопримечательную парковую ротонду с белыми колоннами и купольной крышей, построенную знаменитым зодчим на выгодном для обозрения взлобке, на монументальные церковные храмы опустелого от иноков, но уцелевшего Трифонова монастыря; то переводят взгляд на приближающийся отложистый берег с песчаными косами и густыми зарослями ивняка. Но больше всего их глаза завораживает речная вода. Вода плотно налегает на боковину парома, пенится, искрится на солнце и, неохотно изгибаясь, оmyвает угольные обомшелые брёвна; а после – вода опять стелется простором, гладью – течёт, отдаляется, что-то кротко и загадочно в себе сберегая: может, подслушанные человеческие разговоры, может, сокровенные думы...

– Ты почему к Викентию-то не подошла? – негромко спросила у Ольги Лида. – Не посторонний он тебе. Поприветила бы на прощанье.

Ольга не торопилась с ответом, задумчиво смотрела на воду.

Они ездили в город провожать на фронт Ольгиного брата. Лида увязалась с Ольгой за компанию: своим родным и «ягодиночке» Пανε она уже отмахала смоченным слезами платком. Но на такие провожанки её мучительно тянет, сладко и больно напоминают они, как недавно разлучалась со своим парнем, напоминают каждое слово его и последнее прикосновение.

В гомонливой сутолоке перрона возле приготовленного под посадку новобранцев поезда Лида случаем высмотрела Викентия Савельева. «Обернись-ка, Оль, глянь!» – встрепенулась она. Ольга обернулась, тут же побледнела и прикрылась за плечом брата, чтобы избежать встречи. Викентия Савельева дожидался тот же эшелон.

– Не могла я к нему подойти... – тихо ответила Ольга. – Как осудили Фёдора, так и отрезало. Викентий после суда поговорить со мной пробовал, а я как в воду опущенная. Ни одного слова ему: ни худого, ни доброго... Умный он, обходительный. Любой девке за почёт с таким рядышком пройти. Такому жениху и невеста всегда найдётся. Но у меня-то сердце от него не болит. Не болит – разве такого ждать станешь? Не стоит и на глаза появляться. Зачем перед войной и его, и себя дурманить? – Она вскинула голову, поглядела в высокую даль над церковными куполами разорённого монастыря, потом опять опустила глаза к бесконечной воде. – Всё мне теперь чудится, будто Фёдор за мной следит. Вот ровно всё знает, слышит: чего я делаю, с кем говорю, об чём думаю. Невидимкой за мной идёт... Близкого-то человека для себя только тогда и оценишь, когда с ним беда приключится...

Плёт становится всё меньше – проточина между паромом и осклизлыми подпорками пристани сокращается. Вот и берег. Паром глухо торкнулся в причал. Народ стал высаживаться. Подросток-ямщик звонко покрикивал на вороную лошадь, которая ещё при посадке артачилась идти на паром, а теперь упиралась тащить почтовую телегу на землю.

Попутных подвод до села не нашлось, но пешие попутчики на Раменскую сторону оказались.

– Давай погодим немного, – сказала Ольга, придержав Лиду за локоть. – Пускай все вперёд уйдут. Мы вдвоём. Потихоньку.

Ольга до сих пор совестилась чужих глаз и среди раменских сельчан чувствовала себя зыбко, неся какое-то клеймо беспутницы. В одиночку или в обществе с Лидой ей ступалось твёрже. Она по-прежнему сторонилась Елизаветы Андреевны, дом Завьяловых обходила по

другому порядку, даже появление Таньки давило на неё укором о причастности к Фёдорову сроку. Он в тюрьме, и ей повсеместно укорот...

Они стояли на берегу, глядели на излучину реки, где сталистая вода упиралась в зелёную оторочку берега. Казалось, на этом русло будто бы заканчивалось, исчезая неведомо куда. Лодка вдали плыла по самой середке реки – видать, по течению – легко, часто и высоко взмахивая вёслами, точно хотела взлететь, да никак не могла оторваться.

– Хватит тебе себя-то казнить, – говорила Лида. – Верно наши бабы-то рассуждают. Фёдора в тюрьму забрали – не на фронт. Поди, к лучшему. В том спасенье его... Жизнь-то теперь перевернулась. Всех под ружье. Паню моего увезли. Максима забили. Ты брата сегодня отпустила. Не на вечерку поехали. И Викентий ещё неизвестно, вернется ли? Ты, глядишь, Фёдору-то жизнь нечаянно сберегла. У любого зла, говорят, добрый оборот есть.

– Ах, Лида! О чем ты? – вздохнула Ольга. – Разве я за войну ответчица? Она на всех легла. А тюрьма Фёдору – от меня зависит... Пойдем. Пора уж.

По берегу, мимо ивовых зарослей с посерелой, сниклой листвой, возле которой виляли с прозрачными двойными крыльями большие стрекозы; мимо белоствольного караула из высоких ровных берёз в первых жёлтых подпалинах дорога вывела на открытое место. Среди щетины стерни, где надрывались сверчки, среди выкосов с уложенным в шатры сеном, дорога вытянулась светлой тесьмой вперёд, коромыслом изогнувшись на дальнем холме.

Ольга покусывала сорванную былинку. Лида поглядывала на подругу и пасла на устах значительный вопрос.

– Ты чего ж, выходит, ждать его намерилась? Целых четыре года? – решила наконец Лида.

Ольга не очернила, не обелила. Но и неотвечность говорила сама за себя. Пробуя заглянуть на будущее, Лиде делалось как-то смятенно, словно подруга за четыре года утратит ходовой невестинский возраст, отцветёт и состарится. Да и знать бы Ольге, кого ждать? Каким-то Фёдор из тюрьмы вернётся? Правда, и сама Лида побаивалась «состариться», проводив на фронт наречённого жениха Паню. Сколько войне-то длиться? Год? Два? Ну уж не четыре же!

Ольга заговорила:

– Если к Викентию не прибилась – умом-то разве полюбишь? – то Фёдора дождусь. Пока он там, буду дни считать. Его людской суд судил, а меня пускай сам Фёдор рассудит. – Она поправила шпильками растрепавшийся клубок уложенной на затылке косы; щурилась на солнце, усмехнулась горькой усмешкою. – Как-то раз этой же дорогой с Фёдором шли. Солнце пекло, пить хотелось – спасу нету. Он всё шёл да меня уговаривал: «Потерпи, Оленька, вон за тем угором в лесочке ключ есть – там и напьемся». Мне от солнца в голову ударило, в горле, как в жаровне, всё пересохло. А он меня всё уговаривает. Столько ласковых слов наговорил! Терпеть упрашивал... Может, не пересох ещё ключ-то. И ещё раз из него напьемся.

Потом они долго шли молча. Под необъятным небом с выпцветающей осенней голубизной, посреди огромного суходола на вытянутой ленте дороги – две крохотные фигурки на таком непомерном просторе земли! И вдруг, сперва тихо, чуть дребезжа на крайних нотах, в затишный простор поднялась с дороги истязающая томным мотивом девичья песня. Она поднималась вверх, на высоту, не сопоставимую с маленькими фигурками на земле, растекалась над дорогой и полем, образуя незримую сферу вдохновенного звука. Высокий голос Лиды рвался из груди и с каждой певучей строкой становился всё сильнее и объёмнее:

Ты лети, сера пташечка,
К другу милому,
Ты неси, сера пташечка,
Грусть мою, печаль.
Пусть узнает он,

Друг сердечный мой,
Что не жить без него
Красной девице...

Вскоре и Ольга подхватила песню. Тоном пониже, погуще, в лад подруге повела мотив. Их голоса слились воедино, цепящей тоской заполнили сотканную из чего-то живого, но кажущуюся пустотой окрестность:

Ты вернись ко мне,
Сера пташечка,
Принеси привет
Друга милого.
Расскажи о том,
Когда ждать его,
Когда ждать-встречать
Красной девице...

Песня отплыла голосистым грустным закатом. Подруги остановились на дороге, со слёзной поволокой на глазах обнялись – соединились, как в дуголосье песни, обоюдной девичей кручиной.

– Ох, Лида! – вздохнула Ольга, хотела ещё раз обмолвиться про Фёдора, в чём-то признаться, но в последний момент постеснялась подруги, отвела глаза в сторону. – Тучи вон поднимаются, – сказала она отвлекаясь. – Слоистые тучи-то. Я всегда замечаю, когда такие появятся, вскорости дожди выпадают. Затяжные.

На одном краю неба стояли высокие перистые облака – словно белые кудельки овечьей шерсти, а ниже, под ними, выстилались серым клубящимся слоем облака кучевые.

И впрямь, уже завтра сухмень бабьего лета сойдёт к довершению. На спёкшуюся землю жнивья, на выгоревшую траву луговин, на редколесье урочищ и на таёжную чащобистую глушь, на завьюженные пыльными суховеями дороги зарядит обильное водяное крошево.

Набирала разгон осень.

XV

Календарная зима пока не повела отсчёт. Но зимним предвестником, первым снегом, заявила о себе рано – ещё не весь жёлтый тополиный лист оборвался на землю. Снег выпал ночью, обильный, крупный, – ослепительно-бел, и будто бы весь мир поутру внезапно облагородил, прибавил в нём свету. Село Раменское, казалось, аккуратно поуменилось, ужалось тёмными строениями под накинутым снежным балахоном. Грязная колеистая дорога, коричневая комковатость усадов, серость домовых крыш и надворий – всё и повсюду прибрала свежая подзабытая белизна. словно перевернув захватанную, испещрённую помарками страницу, природа открывала новый лист, где ни пятен, ни ошибок, ни первых заблуждений в строках...

Ольга нынче пробудилась поздно – когда сумрак утра окончательно развеялся и новый день сиял светом первой белоснежности. Она радостно заулыбалась, ещё не осознавая чему, и ещё долго лежала в постели. Ей было по-естественному хорошо, бездумно, просторно и легко в светлой избе. Она скоро догадалась, что это первый снег породил такой простор. Именно этот снег и теплил в ней бессознательную радость – такую, какую сполна человек испытает лишь в детстве, когда светлое утро льётся в светлую душу. Ольге не хотелось вставать, ей хотелось подольше сберечь в себе это детское изумительное чувство, – чувство оторванности от любых воспоминаний, чувство приятия белого, непорочного листа, на который заново и начисто пишется жизнь.

Наконец она встала и, чтобы воочию убедиться в присутствии снега, подошла к окну. На сирени, что под окном в палисаднике, причудливо изгибаясь в угоду расположению ветвей, нарядно лежал снег. Даже без солнца в глазах рябило от его белизны. Ольга опять заулыбалась, всё ещё не подпуская к себе заботы наставшего дня, и перешла к другому окну, не заслонённому сиренью, чтобы получше увидеть преображённую улицу.

Она выглянула в другое окно – и тут же отшатнулась от него. Спряталась за простенок. Лицо её стало матовым уже не от свечения снега, а от собственных вспрынувших мыслей. Осторожно, таясь, она снова выглянула по-над занавеской на улицу – удостовериться, что не примерещился ей этот человек. И вправду – не примерещился.

По центру улицы, хромая, опираясь на кривоватый длинный батог, в толстом чёрном зипуне и лохматистой шапке, густо обросший сивой бородой – только нос да глаза видать, – с мешком на плече шагал старец Андрей. Возле него трусил, не опережая хозяина, серый, волчьей приручённой породы, кобель. Старец шагал медленно, но ровно и твёрдо и по самой середке улицы – тёмный, неуклюже-броский и несуразный на фоне красивой белизны снега. Ольге казалось, что он несёт в Раменское какое-то жуткое сообщение. Хотя что он мог принести из своей «берлоги» – так называли его одинокую обитель некоторые жители.

Укрываясь за занавеской, Ольга следила за его мерным передвижением, а когда старец поравнялся с её домом, опять отшатнулась: то ли пригрезилось, то ли вправду – старец глянул напрямик в Ольгино окошко, глянул, будто в неё саму... Припав спиной к простенку, испуганно сложив руки на груди, она стояла не шевелясь и не смела высовываться впредь, покуда чувствовала старца на улице. Она только угадывала воображением, как старец Андрей пятнает девственный покров неловкой ступнёй и деревяшкой, тычет снег кривым посохом, а рядом с ним следит лапами преданный ему кобель.

Коротка и призрачна оказалась радость белого утра. словно тень Фёдора простёрлась над Раменским, легла на дом Ольги, затемнила ветви сирени, так искусно обнесённые первым снегом. «Что же это такое-то? Как болезнь! Всюду Фёдор, в каждом дне, в каждом часе. Неужели ему так плохо, что и меня от этого мутит? Или клянёт он меня? В цепях своим худым поминанием держит...»

XVI

Дед Андрей прихромал в завьяловский дом. Отстучал деревянной ногой по сениям, вошёл в горницу, поставил мешок на табурет у порога, снял шапку и поклонился – поздоровался с Елизаветой Андреевной и Танькой. Как положено, перемахнул крестно грудь, глядя на киот.

– Грязь первоснежьем обмело. Дорога не в тягость. Вот и пришёл проведать, – сказал он, расстёгивая ватинный кафтан. Сел на лавку.

Танька с робостью поглядывала на деда, на его отсырелую протезную ногу – деревяшку-костыль, крепимый к живой голени ремешками. Даже упоминания о дедке Андрее создавали у ней образ сказочного лесного ведуна, который шастает по чапыжникам и якшается со зверьём. Она всегда побаивалась его, всегда молчком, если находился он поблизости. И хоть родная внучка, приласкаться к нему – ни в жись, поскорее бы скрыться с его глаз. Танька и сейчас недолго побыла в избе, наскоро облокалась и выскочила в сенки.

В сенях – дедов кобель. Никто не знал истинной клички кобеля. Сам старик обходился междометиями. «Эй! Ну!» – и пёс тут же бросался на возглас. Широколобый, с мордой овчарки, сплошь серого окраса. Танька называла его Серый – и за цвет шерсти, и за схожесть с волком. С кобелём Таньке было понятнее и легче, чем с дедом. Но своим характером – несуетливый, нелающий, себе на уме – и некоторыми повадками пёс будто бы повторял хозяина. Иногда Танька и кобеля побаивалась, когда он замирал и опускал хвост, когда выжидательно посверкивало зелёное дно его глаз.

Танька сидела на корточках, обняв голову кобелю, гладила его по спине, ощущая рукой позвонки хребта. «Похудел, Серый. Постарел. И тебе нынче голодно». Она гладила его жалея и невольно прислушивалась к голосам в избе, хотя разобрать слов не было возможно.

– Перебирался бы к нам, тятя. Чего один в лесу в эку пору? Глянь, всё пусто: ни Егора, ни Фединьки. Всё ж не чужие, – говорила Елизавета Андреевна, хлопоча с самоваром.

– Нет, Лиза. Моё место в лесу. Там промысел. Зверюшка в капкан сунется. Да и дробовик пока поднимаю, вот только зреньем ослаб. Здесь мне для вас обузой быть. Вон и Танька меня чурается. – Дед Андрей указал на мешок на табурете: – Я запасы кой-какие принёс. Крупа тут, солонина, грибы сушёные. Ты посылку для Федьки отправь. В тюрьме сейчас мрут. Там и раньше не баловали, а теперь – война... А вот здесь, – он достал из-за пазухи шёлковый, с расшивными узорами платок, завязанный узелком, – колечко. Дорогое колечко. С ценным камушком, брильянтом зовётся... Да ты не гляди на меня этак-то. Не ворованное оно – честное. Наше фамильное наследство.

Дед Андрей положил приманчивый узелок на стол. Елизавета Андреевна стояла в растерянности, без объяснений не решалась притронуться к отцовской драгоценности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.